Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

А. М. Пешковский

ШКОЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ГРАММАТИКА

Опыт применения научно-грамматических принципов к школьной практике

Издание 3-е, исправленное и дополненное, с приложением доклада: «Роль выразительного чтения в обучении знакам препинания».



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО Р. С. Ф. С. Р.
БЕРЛИН. — 1922.

ПРОВ. 1958

Р
105

ПРИДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Отделения наук
Академии наук СССР

783
52

Предисловие ко 2-му изданию.

По обстоятельствам, от автора не зависящим, 2-ое издание этой книги выходит раньше 2-го издания (тоже намечающегося) „Русского синтаксиса в научном освещении". Это заставило автора коренным образом переработать „Введение", превратив его из конспекта „Русского синтаксиса" в самостоятельный очерк основных явлений синтаксиса, понятный и для лиц, незнакомых с большой книгой автора. Правда, необходимая сжатость изложения делает и эту статью серьезным чтением; однако, при некоторой сосредоточенности читателя, он, думается, совершенно не будет нуждаться в справках в „Русском синтаксисе". Круг лиц, к которому обращается этот очерк, попрежнему гораздо уже круга читателей большой книги: это прежде всего — *преподаватели русского языка*, основательно знакомые с элементами если не научной, то хотя бы школьной грамматики. Этим и об'ясняется, что многое сформулировано здесь *сложнее* и *точнее*, чем в „Русском синтаксисе".

Для лиц, знакомых с большой книгой, эта статья явится, может быть, не бесполезным обзором предмета, а отчасти и углублением в него. Вопросы грамматики так трудны для неспециалиста, что здесь всякое новое изложение является тем самым углублением.

Некоторые отличия от 1-го издания по существу об'ясняются переменами во взглядах автора. В том или ином виде они найдут себе место и во 2-м издании „Русского синтаксиса".

К книжке приложен доклад „Роль выразительного чтения в обучении знакам препинания", читанный на 1-м с'езде преподавателей русского языка средне-учебных заведений. Хотя

он повторяет некоторые положения 3-ей главы книги, однако в виду того, что он дает определенные практические указания для проведения в жизнь отстаиваемой в нем системы обучения знакам препинания и, в частности, содержит *точный перечень* случаев расхождения пунктуации с декламацией, автор счел уместным поспешить с его опубликованием, не дожидаясь выхода задерживающихся изданием „Трудов“ с'езда.

1918 г.

ВВЕДЕНИЕ.

Очень многие слова русского языка имеют ту особенность, что выделяют в своих *звуках* и в своем *значении* в сознании говорящего две различные *стороны:* основную, или *вещественную,* и добавочную, или *формальную.* Первая сторона сознается как главный элемент слова, как его остов или ядро, нуждающееся лишь в известной обработке или оболочке, чтобы стать словом. Вторая сознается как эта самая оболочка, как нечто видоизменяющее и дополняющее основную сторону. Так, например, в слове „рыба" мы можем различить, с одной стороны, звуки **р, ы** и **б** („рыб"), как элементы, связанные с главным значением слова, с самым понятием холоднокровного позвоночного животного с плавниками и двухкамерным сердцем, а с другой стороны — звук **а**, как элемент, связанный со значением именительно-винительного падежа единственного числа женского рода. В слове „и́глы" — с одной стороны, звуки **и, г** и **л** („игл"), дающие значение швейного орудия, а с другой стороны — звук **ы** и то, что *ударение на первом слоге,* что вместе дает значение именительно-винительного падежа множественного числа (сравн. „иглы" со значением род. ед.). В слове „десны" — с одной стороны звуки **д, с, н** и изменчивый гласный элемент после **д** („десн" — „дéсн") со значением мягкого вместилища зубного корня, а с другой стороны: 1) звук **ы**, 2) ударение на первом слоге, 3) **é** после **д**, что все вместе создает значение именительно-винительного падежа множ. числа (сравн. „десна", „десны", „десне" и т. д. в единственном и „дéсны", „дёсен", „дéснам" и т. д. во множественном). И так в каждом таком слове. Но на ряду с такими словами в русском языке есть немало слов,

не разлагающихся на такие два ряда элементов. Таковы, напр., слова: „без“, „вчера“, „нет“, „конечно“, „какаду“ и т. д. Особенность слов 1-го рода называется их *формой*, а сами слова называются словами, *имеющими форму*, или, короче, *форменными* словами. Слова же второго рода называются, по сравнению с ними, *бесформенными* словами. В форменном слове всё, что относится к основному, вещественному значению, называется *основной принадлежностью* или, короче, *основой* слова, а всё, что добавляет и видоизменяет эту основную принадлежность, — *формальной принадлежностью* слова. В формальную принадлежность входят таким образом: 1) отдельные *формальные части* (как „а“ в слове „рыба“, или „ы“ в словах „иглы“ и „дёсны“); 2) изменение некоторых звуков основы, или так называемое *чередование* звуков (напр., чередование е—ё в „десна—дёсны“); 3) место ударения, а в других языках и некоторые другие признаки. Важнейшим из этих признаков для русского языка являются отдельные формальные части, называющиеся еще иначе *аффиксами*.

Нетрудно видеть, что слово может иметь форму только благодаря тому, что в языке есть слова, однородные с ним, при чем одни слова *однородны* с ним по своим *основным* принадлежностям (напр., со словом „рыба“ однородны слова „рыбы“, „рыбу“, „рыбный“, „рыбак“, „рыбешка“ и т. д.), а другие по своим формальным принадлежностям (напр., со словом „рыба“ слова „вода“, „нога“, „голова“, „рука“ и т. д., со словом „и́глы“ слова „и́кры“, „пи́лы“, „стру́ны“, „спи́ны“ и т. д.). Именно благодаря такому *двойному* сравнению, производимому нами полусознательно в процессе речи, и происходит разложение таких слов в сознании на *два* ряда элементов. Напротив, бесформенные слова стоят изолированно в языке, их не с чем сравнивать, откуда и происходит их бесформенность.

С большинством форменных слов дело обстоит, впрочем, еще сложнее. Они ассоциируются не с двумя рядами однородных слов, а с гораздо большим числом рядов. Так, слово „девица“ ассоциируется не только с „девица“, „девицы“, „де-

вице“ и т. д. и с „рыба“, „вода“ и „игла“ и т. д., но еще и с двумя другими рядами: 1) дева, девственный, девка, девчонка, девонька и т. д. 2) молодица, старица, юница, отроковица и т. д. Вследствие этого в нем, кроме основы „девиц“ и аффикса „а“, выделяется еще более краткая основа „дев“ и аффикс „иц“, так что всего получается две основы (из которых одна как бы заключена в другую) и два аффикса. А для слова „размашистый“ мы имеем уже *шесть* рядов однородных слов (предоставляем читателю подобрать их) и соответственно этому *три* основы и *три* аффикса (раз-маш-ист-ый). Основы такого типа, как „девиц“ или „размашист“, „размаш“, т.-е. распадающиеся в свою очередь на основу и аффикс, принято называть *производными* основами, а основы типа: „дев“ или „маш“, не распадающиеся уже ни на что, *непроизводными* основами, или *корнями*. Аффиксы, стоящие *перед* такой непроизводной основой, называются *префиксами;* аффиксы, стоящие *внутри* такой основы (таким аффиксом, напр., можно считать в русском языке вставку **о** и **е** в формах род. множ. „игол“, „окон“, „дёсен“, „весен“, „вёсел“ и т. д.), — *инфиксами;* аффиксы, стоящие *после* такой основы, — *суффиксами*. Суффиксы, образующие окончание падежа в склонении и лица в спряжении, называются нередко *флексиями*.

По *значению* все формальные принадлежности делятся на два основных, резко различных, разряда. Одни обозначают только различия в *отношениях* слов и представлений друг к другу и не изменяют ничуть самих представлений (сравн. „награда брата“ и „награда брату“, „увлеченье брата“ и „увлеченье братом“, значения слов остаются совершенно одни и те же, а *отношения* между ними меняются), другие, напротив, не меняют отношений между словами, но зато меняют самые *значения* слов („награда брата“, „награды братьев“, „дом брата“ и „домик братца“, „увлечение братом“ и „развлечение братишкой“). Формальные принадлежности 1-го рода называются *синтаксическими*, а 2-го рода — *несинтаксическими*. Называют их еще также *словоизменительными* и *словообразовательными*, основываясь на том, что первые создают только различные *изменения одного и того же слова*

и не помещаются в словарях*), (напр., формы „брат", „брата", „брату", „братом", „о брате" все вместе образуют одно и то же слово, и первая из них служит в словарях представительницей всех остальных), вторые же создают *отдельные слова*, помещающиеся в словарях (брат, братец, братишка и т. д.). Но названия эти менее точны, и во всяком случае различение 2-го рода не совсем совпадает с различением 1-го. Форма *числа существительного*, напр., является несинтаксической формой, так как не изменяет отношений между словами и изменяет их значения (сравн. выше 1-й пример), а в то же время она в словарях не помещается и отдельного слова не образует. То же относится и к форме степени сравнения прилагательных и наречий и к некоторым другим

Синтаксическими формами русского языка, как показывает анализ значения их, являются: *падеж существительного, падеж, число, род* и *краткая* (сказуемостная) форма *прилагательного, лицо, число, род, время и наклонение глагола.*

На границе между синтаксическими и несинтаксическими формами стоят те из несинтаксических форм, в которых изменение значения слова в то же время меняет и отношения его к другим словам. Таковы прежде всего формы *частей речи* („белый", „белизна", „бело", „белеет", „белеть" разнятся прежде всего по оттенкам самого значения, но в то же время и отношения, в которые они способны вступать с другими словами, совершенно различны), формы *степени сравнения* („белее" требует родительного падежа, а „бело" не требует), формы *залога* („читает" *кого*, а „читается" *кем*) и *вида* („спать" не требует винительного падежа, а „проспать" требует) в глаголах. В тесной связи с синтаксическими стоят также такие несинтаксические формы, которые влияют на син-

*) В данном случае самое *отсутствие* формальной принадлежности вызывает в сознании определенное формальное значение (именительн. над. ед. ч.), потому что другие основы, аналогичные во всех остальных падежных формах с данной (дом, сад, сын и т. д.), *тоже* не имеют никакой формальной принадлежности и притом в тех же синтаксических положениях. Это одинаковое отсутствие аффикса играет в языке ту же роль, что и одинаковое присутствие его во всех других случаях. Это так называемые *отрицательные* формальные принадлежности.

таксические формы других слов. Так, *число* и *род существительных*, будучи сами по себе несинтаксическими, влияют на число и род прилагательных и глаголов (согласование) и тем получают известное отношение к синтаксическим формам.

Все остальные формы русского языка (как, напр., формы уменьшительности, увеличительности, ласкательности и т. д.) являются уже совершенно не синтаксическими.

Как по отношению к формам вообще все слова делятся на форменные и бесформенные, так и по отношению к важнейшим формам, именно синтаксическим, все форменные слова делятся на слова с *синтаксическими формами* и слова *без синтаксических форм*. Каждый из этих разрядов мы рассматриваем порознь.

Слова с *синтаксическими формами* представлены в русском языке основными разрядами: словами *склоняемыми* и словами *спрягаемыми*. Для первых характерна синтаксическая форма *падежа*, и самое изменение их по падежам называется *склонением*, для вторых — синтаксические формы *лица*, *числа*, *рода*, *времени* и *наклонения*, и самое изменение их по этим формам называется *спряжением*. Первые называются еще иначе *именами*, вторые — *глаголами*. *Имена* распадаются в свою очередь на две категории. В одних синтаксической формой являются только *падеж*, число же и род хотя и есть, но не имеют синтаксического значения (форма „братья", напр., может вступать во все те же отношения к другим словам, что и форма „брат", форма „ученица" не разнится в этом отношении от формы „ученик", форма „она" — от формы „он" и „оно"). Это — имена *существительные*. В других именах синтаксическими формами служат *падеж*, *число* и *род*, все вместе определяющие отношение данного слова к другому слову, которое всегда должно быть как раз существительным („белый" и „белые", „белый", „белая" и „белое" могут относиться только к существительному и притом только к одному определенному существительному данного контекста, к которому отсылают формы падежа, числа и рода этих слов, точно так же и „мой", „мои", „мой", „моя", „мое", „второй", „вторые", „второй", „вторая", „второе"). Это — имена *прилагательные*.

По своим несинтаксическим формам существительные, прилагательные и глаголы тоже резко различаются между собой. Очень большое число существительных имеют свои специальные формы *существительности* (напр., суффикс „изн“: „белизна“ от „белый“, „желтизна“ от „желтый“, суффикс — „от“: „доброта“ от „добрый“, суффикс — „ость“: „глупость“ от „глупый“ и мн. др.), огромное большинство прилагательных имеет специальные формы *прилагательности* („умный“, „славный“ от „ум“ и „слава“, „конский“ и „женский“ от „конь“ и „жена“, „шумливый“, „крикливый“ от „шум“ и „крик“ и т. д.), часть прилагательных, именно так называемые прилагательные *причастия*, не имея этих форм, имеют зато специальные *причастные* формы (читающий, читавший, читаемый, читанный), наконец, все глаголы имеют свои специальные несинтаксические формы *залога* (читает — читается) и *вида* (читал — прочитал), а огромное большинство глаголов, сверх того, и специальные формы „*глагольности*“ („глупею“, „зеленею“ от „глуп“, „зелен“, „тоскую“, „врачую“ от „тоска“, „врач“ и т. д.). В некоторых словах сталкиваются, правда, несинтаксические формы нескольких разрядов (напр., в слове „шумливость“ форма прилагательности „лив“ и форма существительности „ост(ь)“, в слове „писание“ форма глагольности „а“, форма причастности „н“ и форма существительности „и“, в слове прояснившийся глагольные формы вида и залога: „про“ и „ся“ и формы причастия „вш“, в слове „грабительствую“ 2 формы существительности „тель“ и „ств“ и две формы глагольности „и“ и „у“ и т. д.), и это отражается соответственно на формальном значении таких слов. Однако нетрудно заметить, что не все эти формы сознаются в таких случаях одинаково интенсивно и что побеждает именно та форма, которая согласуется с разрядом, устанавливаемым для данного слова его синтаксическими формами (обыкновенно последний суффикс, находящийся перед флексией), так что, например, в слове „шумливость“ выступает на первый план в сознании суффикс существительности „ост(ь)“, в слове „грабительствую“ — суффикс глагольности „у“ и т. д., в случаях же полного противоречия между несинтаксическими и синтаксическими формами

(что мы имеем в причастиях, где все синтаксические формы обозначают прилагательность, а все несинтаксические либо близки к глагольности, либо прямо обозначают глагольность) получается специальное комбинативное значение всего разряда (см. ниже).

Слова *без синтаксических форм* представлены в русском языке 3-мя разрядами: 1) слова, связанные по своему происхождению и по своим несинтаксическим формам с прилагательными и отчасти с существительными и имеющие свою специальную несинтаксическую форму *наречия* (в нескольких разновидностях: светло, умно, крайне, внешне, угрожающе, адски, дьявольски, вплотную, врассыпную, докрасна, добела, дважды, трижды и др.); часть из них характеризуется еще несинтаксической формой *степени сравнения* (светлее, светлейше, наисветлее); 2) слова, связанные по своим несинтаксическим формам с *глаголами* и имеющие, сверх того, специальную несинтаксическую форму *деепричастия* (читая, читав, читавши); 3) слова, связанные по своим несинтаксическим формам с *глаголами* и имеющие, сверх того, специальную несинтаксическую форму *инфинитива* (читать, нести, течь).

Из сделанного обзора видно, что среди найденных нами разрядов есть такие, к которым отдельные слова относятся не только по той сумме форм, которая подводит слова под тот или иной разряд (т.-е., напр., синтаксические падеж, число и род — для прилагательного, лицо, число, время и наклонение — для глаголов и т. д.), но и по той *специальной форме*, которая характерна для каждого из разрядов (суффиксы прилагательных, глаголов и т. д.). Такие разряды являются, очевидно, уже не только разрядами, а и особыми *формами* языка, притом формами *основными*, как бы суммирующими в своем значении значения всех тех форм, которые создают данный разряд. Это формы так называемых *частей речи*. Выше мы установили семь таких форм-разрядов: *глагол, прилагательное-причастие, существительное, наречие, деепричастие, инфинитив*. Теперь мы должны перейти к *значениям* их.

Мы уже видели, что каждое форменное слово разбивается

по звукам и по *значению* на две стороны, — вещественную и формальную. Таким образом, в каждом таком слове заключено, с точки зрения грамматической, не одно значение, а *два*. В огромном же большинстве таких слов значений еще больше, так как слова эти имеют большей частью, как мы видели, по *несколько* форм („дев-иц-а“, „раз-маш-ист-ый“), а каждая форма имеет *свое* значение. Следовательно, говоря о значении какой-нибудь части речи, мы должны будем выделить из всего слова *только одну формальную принадлежность* и на её значении сосредоточиться, а от значения корня и от значения других формальных принадлежностей совершенно отвлечься. Предупреждение это нами делается в виду того, что корень по значению может, как это мы сейчас увидим, *противоречить* формальным принадлежностям слова, а формальные принадлежности могут, в свою очередь, противоречить друг другу.

Возьмем слово „белизна“. Что обозначает здесь суффикс существительности „изн“? Как видоизменяет он значение корня? Корень обозначает в данном случае *цвет* („бел“), т.-е. нечто существующее не само по себе, а в *предметах*. Другими словами, корень означает здесь известный *признак* предметов и отсылает нашу мысль непременно к соответствующим предметам (снег, известь и т. д.). Однако, *всё* слово такого впечатления не производит, а, напротив, сосредоточивает нашу мысль на этом признаке, как на чем-то *отдельно существующем*. Если мы вникнем в тот образ, который рисуется нам при слове „белизна“, то заметим, что белый цвет в момент думания этого слова занимает *центр* нашего внимания, что он даже как будто *заполняет* собой всё поле внимания и *изгоняет* из него все отдельные белые предметы. Другими словами, он сам рисуется нам в этот момент как своего рода предмет. Всё это превращение признака в свою противоположность, в предмет, происходит, очевидно, благодаря суффиксу „изн“ (сравн. слово „бела́“, где такого превращения нет), и в этом и состоит значение формы существительного. В таких словах, как „желток“, „белок“, „синяк“, „бурак“, „толстуха“, „старуха“, „старик“, „рыжик“, „черника“, „чернец“ и т д., значение это выявляется еще резче: корни здесь всё время обозначают признаки, а сами

слова уже настоящие, очень разнообразные предметы. Вникнем еще в слова: „хождение", „ходьба", „походка". Корень обозначает здесь действие, т.-е. опять что-то такое, что отдельно от действующих предметов не существует. А суффикс опять сосредоточивает нашу мысль на этом действии, как на чем-то отдельно существующем, как на предмете*).

Теперь возьмем слово „зверский" и „звереет". Здесь мы видим совершенно противоположное. Корень здесь обозначает предмет („зверь"). а суффиксы в обоих словах превращают его в признак, потому что уже не сосредоточивают мысли на этом предмете, а, наоборот, отсылают её сразу к какому-то *другому* предмету, характеризуемому с помощью данного. И в „зверский" и в „звереет" мы думаем уже не о звере, а о ком-то другом, имеющем или получающем *признаки* зверя. В этом и состоит общее значение прилагательного и глагола. Сопоставляя же „зверский" и „звереет" между собой, мы видим, что в глаголе этот оттенок осложнен еще оттенком *процесса перехода, действия.* „Звереет" обозначает не обладание признаками зверя, а *получение* их, при чем получение не извне, не помимо самого предмета, а благодаря *процессу, происходящему в самом предмете.* Точно так же в „грустит" по сравнению с „грустный", „печалится" по сравнению с „печальный" рисуется опять-таки какая-то внутренняя *работа,* какое-то действие. Подобным же образом „светит" по сравнению со „светлый" показывает, что предмет не только обладает качеством света, но и сам *производит* свет, „дымит" = *производит* дым, „пылит" = *производит* пыль, „пенит" = *производит* пену, „мылит" = *производит* мыло и т. д. Значит, глагол по сравнению

---

*) В таких словах, как „ход", „бель", „ширь", „глубь" и т д., тот же оттенок предметности сознается и без всякого суффикса существительности. Это об'ясняется влиянием *системы* форм языка, т.-е. тем, что слова эти принадлежат по своим синтаксическим формам (один падеж) *к тому же разряду,* что и слова „ходьба", „ширина" и т. д. То же относится и к прилагательным, не имеющим суффикса части речи, как „белый", „серый" и т. д. Одна *возможность* образовать от них три синтаксических формы („белый", „белая", „белое") отделяет их от таких существительных, как „портной", „прохожий", и дает им оттенок прилагательности.

с прилагательными выражает признак, производимый самим предметом, частью при помощи *внешней* деятельности (напр., „пылит", „дымит", „глупит"), частью при помощи *внутреннего* процесса („грустит", „звереет").

Наоборот, прилагательное, обозначающее, собственно говоря, просто только признак, без всякого добавочного оттенка, по сравнению с глаголом приобретает оттенок спокойствия, недвижимости, постоянства: ленивый и ленится, насмешливый и насмехается, подвижный и двигается, ломкий и ломается, звонкий и звенит, скользкий и скользит; прилагательные во всех этих парах обозначают либо *характер* человека, либо *природу* предмета, т.-е. нечто постоянное, от его воли не *зависящее.*

Итак, значение этих трех важнейших форм частей речи можно определить так: форма существительного обозначает *предмет,* форма прилагательного — *признак, заложенный в природе предмета,* форма глагола — *признак, производимый деятельностью предмета.*

Остальные части речи по значению все связаны так или иначе с этими основными тремя значениями. Так, наречие, стоя в тесной связи с прилагательными, означает признак и отличается от прилагательного только тем, что отсылает нас не прямо к предмету, обладающему этим признаком, а к чему-то такому, *что высказано о предмете* („лениво *двигается*", „косо *смотрит*", „дьявольски *хитер*"), т.-е. опять-таки к *признаку* этого предмета (выраженному, конечно, всегда прилагательным и глаголом). Таким образом, наречие обозначает как бы признак во 2-ой степени или *признак признака. Деепричастие* тоже обозначает всегда какое-либо *побочное* действие, служащее *признаком* главного („зверея" отсылает нашу мысль к какому-то другому действию, совершенному предметом во время процесса озверения), и в этом его значение совпадает со значением наречия. Но в то же время здесь есть явный оттенок *процесса, действия,* совершенно отсутствующий в наречии. Таким образом, деепричастие заключает в себе комбинацию значения наречия и глагола, с перевесом, повидимому, глагольного оттенка (имеем в виду случай свободного употребления деепричастия, как:

„не учась, в попы не ставят“, где деепричастие относится не только к главному действию, но и к *другому* предмету, как его самостоятельное действие). Подобным же образом в значении *причастия* комбинируется значение глагола и прилагательного, с перевесом на этот раз оттенка прилагательности (сравн. постоянный переход причастий в прилагательные и крайне редкий переход деепричастий в наречия). Наконец, в *инфинитиве* мы сталкиваемся со своеобразным значением действия, отвлеченного от действующего предмета (в „звереть“ нет ни малейшего намека на предмет, производящий данный признак), но в то же время и не изображенного самостоятельно, как предмет (сравн. „озверение“). А так как все части речи, да и все формы вообще, воспринимаются и сознаются в языке прежде всего *сравнительно*, то такое отсутствие предметности бросает инфинитив в об'ятия глагола и придает ему всё то же значение признака, производимого деятельностью предмета. Получается, таким образом, *живая глагольная деятельность, оторванная от своего живого деятеля.*

На примере форм частей речи мы видим, что значение некоторых форм удается анализировать на отдельных словах, вырывая их из связи и не прибегая к связному тексту. Если бы мы захотели анализировать значения числа и рода существительного, залога и вида глагола или, напр., такие формы, как „беловатый“, „беленький“, „белехонький“, то мы пришли бы к тому же результату: связная речь не понадобилась бы. Но это всё потому, что это — формы *несинтаксические.* При малейшей попытке анализировать значение *синтаксических* форм, которые как раз должны в дальнейшем наиболее занять нас, мы убедились бы, что на отдельных словах это невозможно сделать. Такие формы, как „столу“, „столом“ и т. д., вырванные из связи по значению, совершенно неопределимы, что и понятно, если мы вспомним, что они сами по себе не придают никакого оттенка основе, а выражают только различные *отношения* её к другим основам. Таким образом, теперь нам необходимо будет перейти от отдельных слов к *сочетаниям* слов, или, короче, к *словосочетаниям.*

Под *словосочетанием* мы будем понимать ряд таких слов

(2-х, 3-х или более, это безразлично), которые соединены в *речи* и в *мысли*. Таким образом, напр., слово, стоящее перед точкой, с начальным словом следующей фразы не составит словосочетания в данной речи, сочетание „горы полные" в тексте: „когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои" не составит словосочетания, и т. д. Наоборот, такое сочетание слов, как „хорошей погоды", „на столе", „желая взяться за труд", „взяться за", „взяться за труд", „желая взяться" и т. д., при всей своей отрывочности являются возможными словосочетаниями, поскольку они могут быть взяты из живой речи. Из приведенных примеров видно, что словосочетания могут быть законченные и незаконченные и что одно словосочетание может являться частью другого.

В словосочетании, как и в отдельном слове, мы можем тоже различать две стороны — вещественную и формальную. Формальная сторона словосочетания выражается прежде всего в *строении* его, т.-е. в той *комбинации* форм отдельных слов, которая отличает грамматически данное словосочетание от других. Словосочетание, напр., „хорошей погоды" может быть определено со стороны строения своего, как „прилагательное в род. пад. ед. ч. жен. рода, + существительное в род. пад. ед. ч. жен. рода", словосочетание „желая принести пользу", как „деепричастие + инфинитив + существительное в винительном падеже", словосочетание „дом отца", как „существительное в именительно-вин. падеже + существительное в род. пад." и т. д. Подобные формулы не являются только продуктом ученого анализа, а живут, как определенные *шаблоны* или *трафареты* нашей речи (конечно, не в такой формулировке) в сознании всякого говорящего, хотя бы и безграмотного. На это указывают наблюдения над тем, как выучиваются строить свои словосочетания дети, как строят новые фразы люди, обучающиеся иностранным языкам (если только они учатся по естественной методе, а не составляют фразу из отдельных слов чисто-грамматическим путем), наконец, и главным образом, на это указывают наблюдения над изменением самих словосочетаний в жизни языка. Из этих наблюдений можно видеть, что словосочетания тоже *ассоциируются* между собой, как отдельные

речевые единицы, и ассоциируются прежде всего именно по тому признаку, который мы назвали „строением“ словосочетания. Словосочетание, напр., „хорошей погоды“ ассоциируется, как *целое*, со словосочетаниями. „чистой воды“, „прошлой весны“, „ближней деревни“ и т. д.; словосочетание „желая принести пользу“ — со словосочетаниями: „умея переплетать книги“, „рискуя потерять время“, „предполагая найти подводу“ и т. д. А если так, то отношения между словосочетаниями внешне аналогичны отношениям между отдельными словами, и то, в чем сходен целый ряд словосочетаний между собой, можно назвать *формальной принадлежностью всего словосочетания.* Вот в каком смысле мы и сказали, что в словосочетаниях тоже можно различать вещественную и формальную стороны. Само собой разумеется, что формальная принадлежность словосочетания будет явлением уже 2-ой степени, будет, так сказать, формальной принадлежностью 2-го этажа, т.-е, что она будет состоять из *отдельных формальных принадлежностей* слов, как и все словосочетание состоит из отдельных слов. Однако, она не будет и простой *суммой* этих формальных принадлежностей. Прежде всего читатель, вероятно, уже заметил, что *несинтаксические* формы в неё не войдут: словосочетания „дом брата“ и „домик братца“, „желая принести пользу“ и „желая приносить пользу“ или „желая приносить неприятности“ построены *совершенно* одинаково. Таким образом, все несинтаксические формальные принадлежности (поскольку они не стоят в связи с синтаксическими, см. стр. 7 и сл.) отойдут вместе с корнями к вещественной стороне словосочетания. Далее комбинация данных *синтаксических* формальных принадлежностей явится именно комбинацией, а не суммой, потому что здесь замешано в дело внутреннее единство, без которого ведь и самое сочетание слов не является словосочетанием (см. выше). Наконец, кроме отдельных синтаксических формальных принадлежностей, в формальную сторону словосочетания войдут еще и некоторые другие признаки, которых в отдельных словах совершенно нет и которые рождаются, как формальные признаки, только вместе с самим словосочетанием. Сюда относятся:

1) *Бесформенные* слова, как части словосочетания. До сих пор бесформенные слова совершенно ускользали от нашего внимания, так как в них, с точки зрения форм отдельных слов, наблюдать и изучать нечего. Не то в словосочетании. Огромное большинство бесформенных слов принадлежит к так называемым *частичным* словам, т.-е. словам, не имеющим самостоятельного значения, а получающим смысл только при настоящих, полных словах, подобно тому как аффиксы получают значение только при основах (сравн. „а“ в слове „рыба“). Таковы, например, слова: „без“, „и“, „в“, „на“, „хотя“, „даже“ и т. д. (предлоги, союзы и некоторые другие разряды). Для современного сознания это — своего рода оторвавшиеся аффиксы, получившие свободное хождение по языку, хотя, надо заметить, исторически дело обстоит как раз наоборот: сами аффиксы везде и всегда образовывались из таких слов, *прильнув* к другим словам, сделавшимся от этого основами. Частичные слова по значению тоже могут быть разбиты, как и формальные принадлежности, на те же 2 разряда: синтаксические или частичные слова и несинтаксические. Предлоги, напр., обозначают только отношения между представлениями („дом **у** отца“, „дом **без** отца“, „дом **для** отца“ *вещественно* не различаются), союзы — только *отношения* между мыслями („он ушел, **и** я остался“, „он ушел, **а** я остался“, — вещественное содержание то же) и т. д. Это синтаксические частичные слова. А, напр., слово „самый“ в сочетании „самый умный“, „самый красивый“ и т. д. служит для выражения того же оттенка, который заключен в аффиксе „-ейш-“ („умнейший“, „красивейший“), слово „бывало“ в сочетании „говорит бывало“, „скажет бывало“, „зайдет бывало“ — для того же оттенка, который заключен в аффиксе „-ив-“ и в изменении коренного „о“ в „а“ („говаривал“, „захаживал“), т.-е. для выражения *степени сравнения* в прилагательном и *вида* в глаголе. Значит, это — несинтаксические частичные слова (на этих двух примерах видим, что частичные слова, правда, сравнительно редко, могут быть и форменными, при чем сочетание такого частичного слова с полным называется *составной формой*). Огромное большинство частичных слов как раз синтаксичны

по значению, и понятно, что в словосочетании они играют ту же роль, что и синтаксические аффиксы; словосочетания, напр., „ручка чемодана“ и „ручка от чемодана“ синтаксически разнятся между собой, и строение 1-го мы определим, как „существительное + существительное“ (подробности опускаем), а 2-го, как „существительное + *предлог* + существительное“. А таким образом, бесформенное слово „от“ и попадет в формальную принадлежность 2-го словосочетания. Более редкий случай представляет участие бесформенных слов в строении словосочетаний в качестве *заместителей форменных* слов. Сюда относятся такие случаи, как: „далече грянуло *ура*“, „без *пальто*“ и т. д. Строение первого словосочетания определится, как „наречие + глагол в среднем роде единственного числа + бесформенное слово *в роли существительного в именительном пад. ед. ч. ср. р.*“, второго, — как „предлог + бесформенное слово *в роли существительного в родит. пад.*“ И хотя бесформенные слова участвуют в данном случае в строении словосочетания уже не сами по себе, а только как заместители форменных, однако косвенно, через посредство их, они все же являются частями данного словосочетания, как камень, положенный „для весу“ в машину на место утерянной части ее.

2) *Порядок* слов. Этот признак в отдельном слове, конечно, невозможен, в словосочетании же приобретает очень большое значение, и притом не только внешнее, но и внутреннее, так как *всякое изменение порядка слов влечет за собой изменение оттенка всего словосочетания* (сравн.: „Чуден Днепр при тихой погоде“, „Днепр чуден при тихой погоде“, „При тихой погоде чуден Днепр“ и т. д.). В некоторых случаях он даже может, подобно частичным словам, выполнять функцию аффиксов и других формальных принадлежностей (напр., в сочет. „мать любит дочь“ и „дочь любит мать“, произнесенных с одинаковой интонацией и одинаковыми ударениями, порядок слов обозначает падеж).

3) *Ритм и интонация словосочетания.* Этот признак входил у нас уже и в формальную принадлежность отдельного слова в виде места ударения слова (а ударение всегда связано с ритмом и с мелодией речи). В словосочетании он играет

несравненно важнейшую роль и для некоторых разрядов словосочетаний (см. ниже о сложном предложении) является *единственным* формальным признаком.

Итак, вещественную сторону словосочетания образуют все корни слов, входящих в него, и все несинтаксические формальные принадлежности его; формальную сторону словосочетания образуют: комбинация всех синтаксических принадлежностей его, бесформенные слова, как части его, порядок всех его членов и ритм и интонация.

Выяснив основные и в то же время труднейшие понятия грамматики, понятия формы слова и формы словосочетания, мы можем теперь и точно определить содержание этой науки: грамматика есть наука о формальных принадлежностях слов и словосочетаний. Та часть её, в которой изучаются формальные принадлежности слов, называется морфологией, а та часть, в которой изучаются формальные принадлежности словосочетаний, — синтаксисом. Сама же она является лишь частью другой, более обширной, науки — языковедения, на ряду со следующими частями: семасиологией, или наукой о вещественных принадлежностях слов, фонетикой, или наукой о звуковом составе языка независимо от значений слов и словосочетаний, и лексикологией, или наукой о словах, как речевых единицах, независимо от их распадения на вещественную и формальную принадлежности. Фонетика в отделе о чередованиях звуков, распознаваемых только в определенных грамматических рядах (чередование в одном и том же корне, в одном и том же префиксе, суффиксе), тесно переплетается с грамматикой, почему и входит обычно, как 1-я часть, во все грамматики. С другой стороны, семасиология тоже тесно подходит к грамматике в 2-х отделах: 1) в отделе об управлении слов, которое часто зависит от вещественного значения (напр., не переходность „лежу“ и переходность „люблю“), 2) в отделе о классификации слов, потому что в некоторых языках некоторые семасиологические разряды (напр., слова-местоимения, как: „я“, „кто“, „какой“, „такой“, „как“, „так“, отчасти и численные слова, как „два“, „дважды“) отличаются, в связи со своей семасиологической

природой, и некоторыми грамматическими особенностями. В русском языке сравнительно с другими языками эти особенности очень малы, проявляются главным образом в синтаксисе и во всяком случае не оправдывают внедрения семасиологической классификации слов в грамматическую.

Теперь вернемся к нашей главной задаче: к описанию основных форм словосочетаний русского языка. Главнейшей формой словосочетания, лежащей в основе всех остальных, является в нем так назыв. „нераспространенное предложение", т.-е. „*именительный падеж имени + согласуемый с ним глагол*" („птица летит", „умирающий застонал"). Из примеров видно, что на месте именной части возможно и существительное и прилагательное, но первое употребляется гораздо чаще, чем второе, и по значению, как мы сейчас увидим, является здесь основной формой, а второе — лишь ее заместителем. Согласование происходит в тех синтаксических формах глагола, которые способны к грамматическому уподоблению имени, т.-е. в формах лица и числа, а в прошедшем времени — рода и числа. Именительный падеж имени, как часть такого словосочетания, называется подлежащим; глагол, как часть такого словосочетания, называется сказуемым. По значению глагол в этом словосочетании ничем не отличается от глагола, как отдельного слова, т.-е. обозначает признак, производимый деятельностью предмета. Имя же, с которым он согласуется, обозначает при помощи этого согласования тот самый предмет, который своей деятельностью производит свой признак. Таким образом, значение всего словосочетания может быть определено так: „такой-то предмет производит такой-то свой признак".

Второй основной формой словосочетания является так наз. „распространенное предложение", т.-е., как показывает самое название, та же первая форма, но грамматически расширенная и усложненная. Усложнение заключается в том, что как именная, так и глагольная часть словосочетания могут дополняться другими, приведенными с ними в связь, синтаксическими формами, а именно:

1) *Косвенными падежами имен*, или так назыв. *дополне-*

ниями („дом *отца* стоит *на горе*“, „разговор *с больным* вызвал *припадок*“). Как видно из примеров, на месте имени и тут могут быть и существительные и прилагательные, но опять-таки прилагательные сознаются только, как заместители существительных. По значению форма косвенного падежа существительного совершенно не поддается определению. Значения отдельных падежей настолько разнообразны, что значение всех их вместе взятых можно определить только в масштабе всякой синтаксической формы, т.-е. как *отношение* данного предмета к другому предмету или признаку. К этому и сводится общее значение всех дополнений. Отношение это может быть выражено или косвенным падежом имени самим по себе, или, как показывают те же примеры, с отдельным частичным словом (предлогом). В последнем случае получается так наз. *составное* дополнение („на горе“, „с больным“). Само отношение носит грамматическое название *управления* (слово „дом“ управляет словом „отца“, слово „разговор“ управляет словами „с больным“ и т. д.). В управлении можно различать случаи *тесной* связи управляющего слова с управляемым именем, когда само вещественное значение управляющего слова или его определенные формальные особенности связаны с определенным падежом или определенным предлогом и падежом управляемого („вызвал припадок“, „выстоит час“, „настоит на поездке“), и случаи более свободного соединения („стоит на горе“, слово „стоит“ согласуется, по своему вещественному значению, с употреблением пространственного предлога с падежом, но не требует непременно предлога „на“: „стоит под горой“, „у горы“ и т. д., и возможно и совсем без предлога: „стол стоит“). Эта свобода может доходить и до того, что теряется всякая связь с каким-либо отдельным членом словосочетания, и дополнение относится ко *всему словосочетанию* („так он вам и станет ездить каждый день на дачу“). Отношение 1-го рода можно назвать *управлением в собственном смысле*, отношение 2-го рода называется обычно *примыканием*, хотя это название не совсем точно и его бы лучше оставить для обстоятельства (см. ниже), а здесь ввести какой-нибудь новый термин. Между собственно управлением и примыканием дополнения суще-

ствует, разумеется, бесчисленное количество переходных ступеней. В зависимости от того, управляется дополнение именем или глаголом (или примыкает к тому или другому), различают *именные* и *приглагольные* дополнения. Глаголы по отношению к дополнениям делятся на *переходные* и *непереходные*. Первые *управляют* своим дополнением (при чем в зависимости от управляемых падежа и предлога получаются разные разряды переходности), ко вторым оно примыкает. Дополнения могут управляться не только подлежащим и сказуемым, но и другими дополнениями и всеми другими членами распространенного предложения, ниже перечисленными.

2) *Именами, согласуемыми с другими именами*, или так наз. *определениями* („настала хорошая погода", „отвечал ученик Иванов"). Как видно из примеров, на месте имени и здесь возможно и существительное и прилагательное, но здесь отношение по значению как раз обратное тому, какое было при подлежащем и дополнении: основной формой сознается прилагательное, а его заместителем существительное. Притом заместительство это не столь полно, как при подлежащем и дополнении, ибо прилагательное располагает для согласования 3-мя формами: падежом, числом и родом, а существительное — только одной: падежом, да и то нормально выполняющим, собственно, в языке другую функцию (управление). Поэтому в то время, как значение определения совпадает вообще со значением прилагательного (признак, заложенный в природе предмета), так как обусловливается всецело формами согласования в падеже, числе и роде, значение такого определения, которое выражено существительным (так наз. *приложения*), резко разнится от него: существительное и тут продолжает означать *предмет* („*ученик* Иванов"), теряющий лишь известную долю своей самостоятельности и относимый к другому предмету в качестве его признака. Поэтому же такое определение может иметь при себе в свою очередь *другое* определение („*лучший* ученик Иванов"), что при обычном определении невозможно. Определения могут относиться ко всем именам распространенного предложения, т.-е. и к подлежащему, и ко всем дополнениям.

3) *Наречиями* и *деепричастиями*, или так назыв. *обстоятельствами* („он хорошо пишет“, „он ел стоя“). Отношение этого члена к другим, выражаемое, за отсутствием синтаксических форм, лишь порядком слов и интонацией, может быть определено только как *примыкание*, а значение всецело определяется синтаксической стороной значений наречия и деепричастия, как частей речи (признак признака). Соответственно этому, обстоятельство может примыкать ко всякому члену распространенного предложения, обозначающему признак, т.-е. и к сказуемому, и ко всем определениям, и к другим обстоятельствам. В смысле наречий очень распространено употребление бесформенных слов, как „домой“, „здесь“, „там“, „вчера“ и т. д., которые в этом случае являются заместителями форменных (см. выше). В виду их многочисленности и частости употребления в такой роли, их можно называть „неграмматическими наречиями“.

4) *Инфинитивами*, или *второстепенными сказуемыми*, которые так же, как обстоятельства, свободно примыкают к другим членам распространенного предложения (притом к любому члену) и также совпадают по значению с инфинитивами, как частью речи.

Все перечисленные добавочные члены распространенного предложения называются *второстепенными* членами, а основные, одинаково присутствующие и в распространенном и в нераспространенном предложениях, — *главными* членами.

Об'единяя все члены распространенного предложения, как главные, так и второстепенные, мы можем определить эту форму словосочетания, как [именительный падеж имени + управляемые им имена + согласуемые с ним имена + имена 2-й, 3-й и т. д. степеней, стоящих в одной из этих связей с именами предшествующей степени + примыкающие наречия, деепричастия и инфинитивы] + [согласуемый с ним глагол + управляемые им имена + имена 2-й, 3-й и т. д. степеней, управляемые или согласующиеся с именами предшествующей степени + примыкающие наречия, деепричастия и инфинитивы]; или в более краткой формулировке: [подлежащее + дополнения, определения, обстоятельства и второстепенные сказуемые] +

[сказуемое + дополнения, определения, обстоятельства и второстепенные сказуемые].

По значению эта форма словосочетания тоже будет, разумеется, лишь развитием предыдущей формы и будет обозначать, „*что такой-то главный предмет, стоящий, прямо или косвенно, в известных отношениях к таким-то другим предметам, признакам и признакам признаков, производит такой-то свой главный признак, стоящий в свою очередь, прямо или косвенно, в известных отношениях к предметам, признакам и признакам признаков*“. Заметим тут же, что значение это, как и значение нераспространенного предложения (см. выше), как и всякое грамматическое значение, может стоять в полном *противоречии с вещественной стороной словосочетания*. Так в словосочетаниях „дом строится плотником“, „вор наказывается властями“ вещественная сторона говорит, что главный предмет ничего не производит, а, напротив, подвергается воздействию других предметов. Грамматическая же сторона говорит, что он производит признак „строения“ или „наказания“ посредством других предметов.

На месте сказуемого и в распространенных, и в нераспространенных предложениях может быть особое „*сказуемостное словосочетание*“, состоящее из *частичного* глагола, теряющего в той или иной степени свое вещественное значение, и какого-либо *второстепенного члена*, вступающего с этим глаголом в особо тесную связь и порывающего иногда даже свои связи с другими членами, к которым он грамматически относится. Такой глагол называется глаголом-связкой, а второстепенный член является в этих случаях:

1) *сказуемостным определением:* а) „он был *добр*“, „дом был *каменный*“, „он сделался *болен*“, б) „он был *добряк*“, „он оказался *добряк*“ (сказуемое *приложение*);

2) *сказуемостным дополнением:* „он был *добряком*“, „он оказывается *добряком*“, „он был высокого *роста*“;

3) *сказуемостным обстоятельством:* „он был *добрее*“, „он оказался *наготове*“.

Среди сказуемых второстепенных членов особое положение занимает определение, выраженное прилагательным с кратким

окончанием („был *добр*“). Так как такое прилагательное в качестве *обычного* определения в современном литературном языке не употребляется, то самая краткость окончания его стала в нем признаком сказуемости, и таким образом сказуемостный член этого типа может быть выделен, в противовес всем остальным, как *морфологически* сказуемостный член.

Вследствие отсутствия в русском языке форм настоящего времени от глагола „был“ — „буду“ (служащего как раз чаще всего глаголом-связкой), сказуемостное словосочетание лишается часто своего 1-го члена („он добряк“, „он наготове“). Однако по связи со всеми остальными сказуемостными группами такой второстепенный член здесь может считаться сказуемостным при *отрицательной связке.*

Кроме сказуемостных членов в распространенных словосочетаниях может быть выделен еще один разряд членов и групп членов. Это — так назыв. *обособленные* члены и группы. Отличаясь весьма мало от обычных членов и групп по своему формальному строению (во что мы здесь не можем вдаваться), они в то же время резко разнятся от них по *ритму* и *интонации*, с какими произносятся. Именно ритм и интонация этих групп (одиночные члены в таком положении редки) уподобляются ритму и интонации целых предложений, когда они служат частями другой, более сложной, формы словосочетания (так назыв. „сложного предложения“, см. ниже): „*гуляя по берегу ручья*, я заметил“, „я виделся с человеком, *слывшим за умника*“, сравн по интонации и ритму: „когда я гулял по берегу ручья, я заметил . . .“, „я виделся с человеком, который слыл за умника“. Эти-то ритмическо-мелодические признаки и обособляют эти группы из всего состава распространенного предложения.

Кроме предлогов, в распространенном предложении встречается еще один важный разряд частичных слов — *союзы*, служащие для выражения *одинакового отношения двух членов к одному и тому же третьему* („беру стол и стул“, „свободный от забот и тревог“). Сами члены, об'единенные таким образом в своих отношениях к третьему, называются *однородными* (хотя морфологически они могут быть и неоднородны),

а всё словосочетание, заключающее такие члены, — *слитным предложением.* Однородные члены произносятся всегда с особыми, характерными только для них, ритмом и интонацией, и в очень многих случаях одни эти ритмическо-мелодические признаки, без союза, создают значение однородности (сравн. „не видно было берегов, плотины . . .“, где уже одно чтение запятой исключает конструкцию: „берегов плотины“). Такие члены можно наравне с членами, соединенными союзом, тоже называть однородными, а само предложение слитным.

После союзов и предлогов, являющихся, таким образом, в рассматриваемой форме словосочетания по функциям своим *связками дополнений* и связками *однородных членов*, должны быть упомянуты в качестве особых разрядов частичных слов:

1) глаголы-связки (см. выше),

2) отрицательные частичные слова: („не“, „ни“),

3) вопросительные частичные слова: („ли“, „разве“, „уже-ли“, „неужели“, „неужто“),

4) повелительные частичные слова („пусть“, „ка“),

5) усилительные частичные слова, служащие для выделения какого-либо члена из среды других (напр., „то“ в сочетаниях „ты-то это знаешь“, „это-то ты знаешь“, „знать-то ты это знаешь“).

Все они вместе с предлогами и союзами являются *служебными* членами предложения в отличие от ранее рассмотренных *полных* или *знаменательных* членов.

Только что описанные формы словосочетаний имеют не только все перечисленные структурные признаки, но и определенные ритмическо-мелодические признаки, позволяющие ясно отличать независимо от грамматического анализа законченное такое словосочетание от незаконченного (сравн. ритм и интонацию первых двух слов в словосочетании: „я отправился домой“ и в словосочетании: „я отправился“; для бóльшей яркости сравнения рекомендуем в 1-м примере „захлопнуть рот“ на границе второго и третьего слова, второй пример произносить обычно — спокойно). Признаки эти еще мало изучены, но на практике явно уловлены в *знаках препинания*, ставящихся в конце этих словосочетаний. В общем можно

сказать, что грамматической *цельности* и *сложности* всегда соответствует в них ритмическая цельность и сложность, так что, обрывая какое-нибудь распространенное предложение на всех его членах по порядку, мы всегда будем находить в каждом месте разрыва *иную* ноту и *иную* силу выдыхания, соответственно общему ритмическо-мелодическому строению его. Однако вся эта ритмическо-мелодическая фигура (имеющая, конечно, много разновидностей) может накладываться и на *любую часть* распространенного и нераспространенного предложения (сравн. ритм и интонацию в словосочетании „вчера вечером", сказанного в ответ на вопрос: „когда приехал?" или восклицание Чацкого: „карету мне, карету!"), т.-е. на любое незаконченное словосочетание*). Об'яснется это тем, что представления и группы представлений, данные в *предыдущем опыте* говорящих, в *обстановке речи* и в *предыдущей речи* (а иногда и ожидающиеся в последующей), могут *не облекаться в словесную форму* и, таким образом, с точки зрения речевого процесса, *опускаться* („подразумеваться" по школьной терминологии). В этих случаях оставшиеся члены берут на себя ритмическо-мелодические функции *всего* словосочетания, почему словосочетание и оказывается по ритму и мелодии законченным. Такие словосочетания, являющиеся грамматическими частями рассмотренных выше типов, но по ритму и интонации аналогичные целому виду их, называются *неполными предложениями*. Классификации неполных предложений мы не можем дать в этом беглом очерке. Заметим только, что наиболее частый случай неполноты, это — отсутствие подлежащего: „пришел, увидел, победил", „любит — не любит" и т. д.**).

*) Равно как и наоборот: словосочетание, грамматически законченное, может быть по ритму и интонации незаконченным, сравн. выше слова „я приехал" в словосочетании „я приехал домой".

**) В распространенном предложении при отсутствии одного из его членов получается уже не словосочетание, а одиночное слово. Но такие слова, не являющиеся частями словосочетаний и в то же время по тем или иным признакам (в данном случае ритмическо-мелодическим) аналогичные целым словосочетаниям, мы можем называть условно „словосочетаниями", что делает возможным необходимое по сути дела включение их в сферу синтаксического изучения.

На границе между полными и неполными предложениями стоят в нашем языке словосочетания, в которых сказуемое имеет форму 1-го или 2-го лица единств. или множеств. числа („иду в аптеку", „здравствуйте"), а подлежащих: „я", „ты", „мы" и „вы" нет. Опущение подлежащего в них наименее ощутимо, потому что *других* слов, кроме одного из этой четверки, *здесь быть не может*, а при таких условиях отсутствие слов не дает ощущения неизвестности (сравн. отсутствие подлежащего в 3-м лице, где кроме „он" может быть любое существительное и в связи с этим неполнота явно ощущается). Особенно это относится к *повелительному наклонению*, где ощущение подлежащего обычно.

От неполных предложений без подлежащего надо отличать особую форму словосочетания, внешне с ними сходную, но внутренне совершенно отличную. Как и они, она представляет собою *вторую половину* рассмотренных выше форм (т.-е. сказуемое, одно или с дополнениями, определениями, обстоятельствами и второстепенными сказуемыми, от него зависящими). Но в то время, как неполное бесподлежащное предложение сохраняет в своем глаголе полностью значение форм согласования в лице и числе, а в прошедшем времени в роде и числе, так что, напр., в словосочетаниях: „пришел, увидел, победил" или „любит — не любит" мы ясно относим глагол к *чему-то опущенному*, хотя бы и не представляли себе этого опущенного в словесной форме, в словосочетаниях типа „светает", „мне взгрустнулось" значение форм согласования в глаголе затушевано дефективностью самого глагола (отсутствие форм „светаю", „светаешь", „взгрустнулся", „взгрустнулась"), что и создает особую форму словосочетания, которую можно определить, как „*не*" согласуемый ни с чем глагол + управляемые им имена и т. д. и т. д." Форма эта во всех остальных признаках и особенностях, описанных выше (наличность сказуемостных и обособленных членов, служебных членов, законченности ритма и интонации и т. д.), вполне параллельна предыдущей форме, так что по этому одному признаку (согласованность или несогласованность глагола) все глагольные словосочетания могут быть резко разделены на две основные категории.

Словосочетания с согласованным глаголом носят название личных предложений, словосочетания с несогласованным глаголом — безличных предложений. Безличные предложения тоже имеют свою классификацию, которую мы здесь принуждены опустить.

На границе между личными и безличными предложениями стоят:

1) Бесподлежащные словосочетания с глаголом в 3-ем лице множ. числа (а в прошедшем времени просто множ. числа): „говорят", „от кого чают, того и величают" и т. д. Формы согласования в глаголе здесь сознаются, лицо и число не затемнены, а в то же время опущение подлежащего здесь выходит за пределы простой замены словесных представлений бессловесными (сравн. „говорят", сказанное с указанием жестом на тех, кто говорит). Такие словосочетания можно назвать *неопределенно-личными предложениями.*

2) Бесподлежащные словосочетания с глаголом во 2-м лице единственного числа („тише едешь, дальше будешь"). Форма 2-го лица здесь тоже вполне ясна, но она здесь приобретает особый обобщительный оттенок значения. Соответственно этому такие словосочетания можно назвать *обобщенно-личными предложениями.*

До сих пор мы намеренно употребляли термины „нераспространенное предложение", „распространенное предложение", „неполное предложение", „подлежащее", „сказуемое" в чисто условном смысле, обозначая ими определенные формы словосочетаний и слов и не касаясь их логико-психологического содержания. Термин „предложение" был для нас только частью того или иного слитного речения. Однако всякому известно, что происхождение этого термина — логико-психологическое, и именно с определения этого термина, как „мысли, выраженной словами", и начинается традиционный синтаксис. Таким образом, в терминах этих высказался тот взгляд, что описанным выше формам словосочетаний всегда соответствуют в процессе речи *отдельные логико-психологические суждения* (мысли). Точно так же и термины „подлежащее" и „ сказуемое" хотя и возникли первоначально в грам-

матике, но уже издревле были перенесены в логику как первый и второй члены суждения, а затем и в грамматике всегда принимались как словесные выразители этих двух членов. Теперь мы должны рассмотреть, *в какой мере* все эти традиционные утверждения являются истинными. Само собой разумеется, что нас будет занимать при этом не самое происхождение этих терминов, а более широкий и более важный для нас вопрос о *соответствии* или *несоответствии вышеописанных основных форм словосочетаний основным формам внеязыкового мышления.* В качестве основной формы последнего мы будем принимать так называемое *психологическое суждение*, т.-е. соединение двух представлений, посредством особо тесной и отдельным волевым актом устанавливаемой нами связи, в одно психологическое целое. Первый по времени член такой пары представлений мы будем называть *психологическим подлежащим*, а второй — *психологическим сказуемым.* Задача наша будет определить, в каком отношении к этой общей форме мышления стоят те специальные формы *языкового* мышления, которые выше были констатированы.

Наблюдения над обще-психологической стороной речи и над ее соотношением с чисто языковыми фактами прежде всего показывают, что каждое наше психологическое суждение мы отмечаем в речи особым ударением, более сильным, чем то ударение, которое существует в каждом слове. Это то, что раньше называлось „логическим ударением" и что, имея в виду обычные, не выверенные нормами логики, мышление и речь, правильнее будет называть „психологическим ударением". Совершенно невозможно высказать что-либо, не сделав такого ударения хотя бы на *одном* из высказанных слов. Речь без таких ударений уподобилась бы звукам говорильной машины и для живого и *мыслящего* существа невозможна. Если всё высказываемое состоит из одного слова („хорошо", „здравствуйте", „да", „нет"), то это слово произносится обычно *с той самой силой ударения*, с какой произносится выделенное психологическим ударением слово, когда их несколько. С другой стороны, каждый сам на себе может заметить, что, употребляя в речи на небольшом протяжении *несколько* ударений

(напр., „да вы ее *насухо* вытрите, да смотрите *хорошенько*, а то может *заржаветь*. Да *не там, не там, внутри* надо. *Экой* какой несообразительный!“), он испытывает при каждом ударении особое ощущение усилия, и не только чисто-речевого, т.-е. старания произнести эти слова сильнее и громче, но и какого-то *вне*-языкового усилия, лежащего в основе языкового, какого-то как бы психологического центра речи, момента наибольшей заинтересованности, наиболее *активного* отношения к мыслимому и говоримому. Это переживание и есть отдельный волевой акт, который, как мы говорили, характерен для каждого отдельного психологического суждения, и таким образом непосредственное самонаблюдение доказывает, что, *сколько психологических ударений* в речи, *столько* скрывается за ней *психологических суждений*.

Анализируя далее, мы можем заметить, что психологическое ударение мы делаем всегда на слове, выражающем *второй* член суждения, психологическое *сказуемое*. В самом деле, первый член, т.-е. то представление, из которого мы исходим, возбужден обычно у нас в уме уже обстановкой речи или предыдущей речью и есть уже нечто *пережитое*: в качестве такового он и не привлекает к себе внимания. Напротив, второй член всегда есть нечто новое (имеем в виду эмоциональную новизну, конечно, а не непременно незнакомое представление), нечто *искомое*, и в присоединении искомого к данному и состоит описываемый душевный процесс. Если я, напр., спрашиваю своего слугу: „А ты *ходил* к Ивановым за провизией?“, то ясно, что представления о слуге („ты“), об Ивановых, о провизии уже даны для данного суждения предыдущим опытом обоих говорящих и могут лишь служить отправным пунктом суждения. Центром же его является возможность или невозможность соединения с этими представлениями представления о хождении слуги, которое и будет психологическим искомым суждения, т.-е. его 2-м членом (в частности, в данном случае не переходящим окончательно из искомого в найденное, так как суждение вопросительное и соединение представлений происходит *предположительно*). Соответственно этому, слово „ходил“ и получает психологическое ударение, а все остальные

слова произносятся без него. Если же у меня со слугой было условлено, что он должен сходить за провизией (т.-е. представления о слуге, о хождении и о провизии будут данными), но не было вырешено, к кому именно он пойдет, то я спрошу: „А ты ходил *к Ивановым* за провизией?“, и слово „Ивановым“ выразит новую часть суждения, психол. сказуемое, а все остальные слова — психол. подлежащее. Наконец, если я знаю, что слуга ходил к Ивановым, но не знаю точно, зачем, то я спрошу: „А ты ходил к Ивановым *за провизией?*“, и слово „провизией“ выразит психол. сказуемое, а все остальные — психолог. подлежащее. Нужно еще заметить, что если психол. подлежащее достаточно ясно и живо возбуждено в уме говорящего и слушающего обстановкой или предыдущими опытом и речью, если говорящий не считает нужным *указывать* на него словами, или *напоминать* о нем слушающему, то оно совсем не выражается в речи, оставаясь в области внеязыковых представлений. Так, в предыдущем примере слуга на мой вопрос, конечно, ответит: „ходил“ или: „к Ивановым“, или: „за провизией“, и не станет повторять остальных слов вопроса. Если двое ясно услышат выстрел, то или скажут: „стреляют“*), или скажут: „это из ружья“, или: „пушка!“, или: „это солдаты учатся“**), но почти никогда не скажут: „это стреляют из ружья“, „это пушечный выстрел“, „этот выстрел об'ясняется тем, что солдаты учатся“, и т. д. Фразы 2-го типа отдают самоучителем

*) В этом случае психол. подлежащим будет представление о выстреле, а психолог. сказуемым самое *слово*, называющее это представление. Это — особый тип психологически-*назывных* суждений. Многие наши суждения, связанные с речью, состоят только в этом процессе *называния* представлений, т.-е. перевода их из внеязыковой сферы в языковую

**) Здесь мы имеем случай выражения психол. сказуемого *несколькими* словами (ведь психолог. подлежащим и здесь остается представление выстрела, а психол. сказуемым оказывается *об'яснение* его). Это бывает тогда, когда психол. сказуемым является представление *сложное*, расчленяющееся на несколько представлений, из которых каждое выражается отдельным словом (в данном случае представление о солдатском учении, сравн. то же явление, как вполне обычное для психолог. подлежащего). В этом случае ударение оказывается не на всей группе слов, выражающих психол. сказуемое, а на каком-нибудь одном слове, выражающем наиболее интенсивно сознаваемую часть сложного представления („это *солдаты* учатся“) Только в исключительных случаях два члена такого сложного

французского или немецкого языка, фразы 1-го типа выхвачены из жизни. Таким образом, в живой речи слова, служащие для выражения психол. подлежащего, в большинстве случаев опускаются (или, вернее, *не зарождаются* в процессе речи), чем и об'ясняется образование неполных предложений (см. выше) и их обилие в разговорном языке.

Теперь посмотрим, как относятся найденные нами сейчас психологические величины, лежащие в основе речи, к описанным ранее грамматическим величинам. Читатель, вероятно, уже заметил, что на первый взгляд соотношения никакого. Ударение может быть на *любом* члене предложения, следовательно, психол. сказуемое может выражаться любым членом и психол. подлежащее любым; ударений может быть *несколько* в одном предложении (сравн. пример выше; правда, там предложение получается всё-таки слитное, т.-е. с известными грамматическими особенностями, но вот примеры на обычные предложения с несколькими ударениями: „Да *куда* же вы его *девали?*“ „А *философ* — без *огурцов*“. „*Ты* с басом, Мишенька, садись против *альта*, я, прима, сяду против *еторы*“, и т. д.), следовательно, одно предложение может выразить несколько психологических суждений; наоборот, одно суждение можно выразить несколькими предложениями (напр.: „А ты ходил к Ивановым за провизией, как я тебе раньше приказывал?“, сказанное с одним сильным ударением во всей фразе), психол. подлежащее может быть совсем не выражено, наконец, и психологическое сказуемое и психол. подлежащее могут быть выражены и не отдельными словами, а целыми *группами* слов, при чем слова, принадлежащие к той и другой группе, могут быть переплетены друг с другом в полном беспорядке (см. пример выше). Спрашивается: на чем же основано утверждение, что предложение есть выражение суждения и что

представления могут получать одинаковое (вернее, почти одинаковое) ударение (напр.: „представьте себе, Иванов *решил задачу!*“, сказанное про ученика, не могшего решить до сих пор ни одной задачи), а три, кажется, никогда; при попытке сказать с 3-мя ударениями ту же фразу получаем уже 2 ритмических центра, т.-е. психол. сказуемых: „*Иванов решил задачу*“.

грамматические члены его суть выразители психологических членов?

Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим внимание на следующие факты:

1) Чем далее мы будем отходить от аффективной стороны речи и от индивидуальных условий её, тем больше мы будем подходить к совпадению числа психологических суждений с числом предложений. В научном языке, напр., по нашим наблюдениям, число предложений и границы их всегда в точности соответствуют числу и границам возможных психологических суждений, так что даже и каждое придаточное предложение, которых там особенно много, всегда предполагает отдельное психологическое суждение (только слитные предложения и тут всегда соответствуют стольким психологическим суждениям, сколько в них однородных членов, но это уже закон самих слитных предложений). Таким образом, в наиболее *об'ективной* сфере языка предложение действительно оказывается выразителем отдельного психологического суждения.

2) Не каждый член предложения одинаково легко выделить голосом, т.-е. сделать выразителем психол. сказуемого. Возьмем, напр., предложение: „мой дядя самых честных правил". Если бы мы хотели выделить голосом не „правил", а „*мой*", достаточно ли было бы нам той силы ударения, которую мы применяем в этой фразе обычно? Конечно, нет; пришлось бы ударить *гораздо сильнее.* Сам по себе этот случай совсем не невозможен (напр., если бы двое спорили о своих дядях, чей дядя честных правил), но ясно, что с данной формой словосочетания он плохо ладит. По всей вероятности, тогда было бы сказано: „честные-то правила у *моего* дяди, а не у твоего", или: „это *мой* дядя самых честных правил" и т. д., при чем нетрудно заметить, что даже и при соответствующем изменении фразы определение всё-таки продолжает требовать бо́льшего ударения, чем дополнение. Однако, это касается только *приглагольного* дополнения. Ударение на *приименном* дополнении, стоящем при *подлежащем,* тоже кажется необычным и тоже требует особой силы („дом *отца* красив" звучит странно; сравн. еще по силе ударения: „не стая *воронов* слеталась . . .,

удалых шайка собиралась", или: „когда же *юности* мятежной пришла Евгению пора"). Далее заметим следующее: если мы делаем ударение на грамматическом подлежащем, то мы ставим его *после* грамматического сказуемого („залаяла *собака*", „пришел *почтальон*", „сверкнула *молния*") или принуждены бываем опять-таки *сильнее* ударить на нем („*собака* залаяла", „*почтальон* пришел", „*молния* сверкнула"). Значит, между членами суждения и членами предложения всё-таки оказывается какая-то связь, только более *сложная*, чем это обычно предполагается. Обычность ударения на *приглагольном* дополнении можно понимать, как результат того, что сказуемое со *всеми зависящими от него членами* всё-таки чаще всего выражает психологич. сказуемое, при чем ударение попадает только на одно слово, выражающее одну часть этого сложного (см. выше примечание). Перестановку подлежащего и сказуемого в тех случаях, когда на подлежащем ударение, можно понимать, как стремление говорящего хотя бы порядком слов, соответствующим порядку представлений, компенсировать тот разлад, который получился между психологической стороной речи и грамматической. Наконец, усиление ударения на подлежащем, когда оно выражает психол. сказуемое и стоит на *первом* месте (иногда еще и выделение с помощью усилительных частиц: „*это почтальон* пришел!"), можно понимать, как результат наибольшего расхождения грамматики и психологии. Правда, и на сказуемом в этом случае пришлось бы необычно сильное ударение, может быть, даже более сильное, чем на подлежащем („*пришел* почтальон", „*залаяла* собака" и т. д.), но нужно заметить, что такой случай уже совершенно исключителен, потому что в случае соответствия грамматических членов психологическим нормальным порядком представляется только прямой, а не обратный („собака залаяла", „почтальон пришел"), а самое обращение порядка слов и есть обычно следствие несоответствия грамматических членов психологическим. Таким образом, анализ сравнительной силы психологических ударений при разных синтаксических условиях (вопрос, к сожалению, несмотря на свою огромную важность, пока еще почти не изученный в науке) позволяет

нам уловить всё-таки какую-то тенденцию грамматических членов равняться по психологическим, — тенденцию, правда, крайне глухую и глубоко запрятанную рядом видоизменяющих дело факторов, создающих чрезвычайно сложную сеть психограмматических отношений, которую здесь по условиям места мы могли лишь слегка затронуть.

3) Вникая в грамматическое значение подлежащего и сказуемого, мы найдем, что значение *сказуемого* соответствует самой *сущности* психологического суждения в его отличии от простой ассоциации двух представлений, т.-е. соответствует *внутренней связи*, которая устанавливается между ними в суждении. Дело в том, что из всех синтаксических форм только одни формы *сказуемости* (т.-е. синтаксические формы глагола и в русском языке еще форма краткости в прилагательном) выражают отношение *новое* для мысли, отношение, открываемое в самом процессе мысли, тогда как, напр., формы падежа существительного или падежа, числа и рода прилагательного выражают отношения, уже *открытые* мыслью ранее (сравн. „дом отца", „красивый дом" и „дом строится"; первые словосочетания явно *не закончены*, и только при помощи *особенно* сильного ударения на одном из их членов и особых условий обстановки речи могут выразить цельное психологическое суждение, 3-е словосочетание не нуждается в добавлениях и сказанное каким угодно тоном и в каких угодно условиях выражает цельное психологическое суждение). Это стоит в связи с той *активностью* значения формальной стороны глагола, которую мы ранее проследили. Именно в этом „*произведении*" предметом своего собственного признака и выражается в языке самая сущность процесса мысли, сущность связи между психол. сказуемым и психол. подлежащим. А если так, то ясно, что *вещественная* сторона всякого глагола + все слова и формы, от него зависящие, должны выражать *само* психолог. сказуемое, а все, что не зависит от глагола, т.-е. подлежащее со всеми его членами, должно выразить психол. подлежащее. Если, переходя к конкретному случаю, в словосочетании „мой отец думает выехать за границу" „аффикс" „ет" выражает связь между психол. сказуемым и психолог. подлежащим, то ясно, что *то*,

что он ближайшим образом присоединяет, т.-е. основа „дума“ и всё от неё зависящее („выехать за границу“) и выразит психолог. сказуемое, а всё остальное („мой отец“) — психолог. подлежащее. Этому как нельзя больше соотвстствует тот факт, что *чаще всего* ударение бывает на одном из приглагольных членов: на приглагольном дополнении, на обстоятельстве и на приглагольном второстепенном сказуемом (последнее даже во *всех* тех случаях, когда при глаголе есть второстепенное сказуемое). Этому как нельзя больше соответствует и то, что глагол так склонен превращаться в связку или терять хотя бы часть вещественного значения (при второстепенном сказуемом). Естественно, что при распадении психол. сказуемого на несколько представлений, то представление, которое привлечет наибольшее внимание, выразится *отдельным* словом, а не основой только. Таким образом, грамматический анализ тоже указывает на *основное* соотвстствие предложения психологическому суждению, а главных членов предложения (или соответствующих словосочетаний в случае распространенности) — членам суждений.

Собирая все три наблюдения в одно целое и противопоставляя их констатированной ранее хаотичности ударений в живой речи, мы можем сделать следующий вывод: *прямого соответствия* между предложением и психологическим суждением и между членами того и другого *в языке нет*, но в нем замечаются *две противоположные тенденции:* одна — провести это соответствие, другая — нарушить, запутать, видоизменить его. И нам остается только определить причины происхождения каждой из этих тенденций, чтобы выяснить окончательно отношение предложений к психологическим суждениям.

Первая тенденция коренится в самом происхождении глагольного предложения. Нет сомнения, что описанное выше значение глагольной формы есть *исконное* значение её, создававшееся в эпоху создания глагола (речь идет, конечно, о проблематическом, первичном периоде языка человеческого без отношения к отдельным языкам и о первичном глаголе), несравненно живее, чем сейчас, стоявшее тогда в *центре* сознания, что и выразилось в процессе *создания* этой формы. В

ту эпоху, надо полагать, форма *эта всегда* выражала соотношение между психол. сказуемым и психол. подлежащим, а соответственно и члены предложения *всегда* соответствовали членам суждения. И поскольку значение этой формы в нас живо, постольку оно и должно создавать тенденцию языка и *теперь* провести это соответствие.

Вторая тенденция об'ясняется подсознательностью всякой языковой формы, способностью её облекать любое психическое содержание, а не только то, для выражения которого она создана. Не надо забывать, что со стороны формальной (а несколько менее и со всех других сторон) речь есть процесс *привычный, автоматический*, как ходьба, игра на рояле, плавание и т. д. В центре внимания всегда стоит то, *что* мы говорим, а не то, *как* мы говорим. Отдельные формы слов и словосочетаний, нами употребляемые, так же мало замечаются нами, как отдельные движения ног, составляющие столь сложный и так подробно изучаемый в физиологии процесс ходьбы. Ясно, конечно, что чем *древнее* форма, чем *исконнее*, чем употребительнее, чем „*основнéе*“ она, так сказать, для языка, тем привычнее она становится, тем глубже она спускается в область подсознательного и тем легче она облекает собой всякое психологическое содержание. В этом отношении для форм нераспространенного и распространенного предложения соперников нет. Ведь это — самые *основные* и самые *общие* формы словосочетаний языка, по отношению к которым все остальные являются лишь разновидностями и частностями. Потому-то здесь и наблюдается наибольшее расхождение между психологией и грамматикой.

Покончив с вопросом о взаимоотношениях предложения и психологического суждения (одним из труднейших, надо заметить, общих вопросов грамматики), нам остается только сказать несколько слов о более сложной, чем предложение, форме словосочетания, чтобы закончить наш очерк. Мы имеем в виду так наз. *сложное предложение*. Хотя в языке есть специальные частичные слова служащие для соединения предложений, — союзы (отчасти те же, что в слитном предложении, отчасти другие, как: „потому что“, „хотя“ и т. д.), — однако

ритмическо-мелодические признаки побеждают в данном случае чисто-синтаксические, и предложения, внешне соединенные союзом, *внутренно* часто оказываются принадлежащими к двум разным сложным словосочетаниям (на письме это обозначается нередко точкой и точкой с запятой перед „и", „а" и др.). Поэтому понятие сложного предложения приходится основывать не на союзах, а, главным образом, на ритме и мелодии речи и определять так:

Сложное предложение есть сочетание предложений, соединенных союзами, союзными словами или союзными синтаксическими паузами и не раз'единенных разделительными синтаксическими паузами.

Под союзными словами мы понимаем такие слова, которые хотя и служат для соединения предложений, но в то же время не являются *частичными*, а суть *полные, самостоятельные* члены предложения, лишь попутно взявшие на себя союзную функцию. Таково, напр., слово „который", являющееся всегда подлежащим или дополнением того предложения, в котором оно находится; таковы слова „потом", „затем", являющиеся обстоятельствами и в то же время отчасти связывающие данное предложение с предыдущим, и т. д.

Под союзной синтаксической паузой мы понимаем один из двух типов ритмическо-мелодических границ: 1) *повышение* голоса с последующей паузой *или без неё:* „а дойдешь до угла, — повернешь налево"; 2) *однотонная* интонация *перечисления*, т.-е. та же, что и в слитных предложениях, но уже в применении к целым предложениям, а не к однородным членам с паузой или без неё („дойдешь до угла, повернешь налево, войдешь в калитку первого дома, там к тебе выйдет человек..." — всё это, сказанное тоном перечисления).

Под разделительной синтаксической паузой мы понимаем *понижение* голоса с обязательной паузой после него (на письме точка или точка с запятой).

Связь, устанавливаемая между предложениями, союзами и союзными словами, может быть двоякого рода: на началах *равноправия* обоих соединяемых предложений и на началах *преобладания* в синтаксическом сознании одного предложения

над другим. Союзы и союзные слова, устанавливающие связь первого рода, называются *сочинительными*, а союзы и союзные слова, устанавливающие связь второго рода, — *подчинительными*. Из союзов все те, которые употребляются в слитном предложении, суть в то же время сочинительные, а все остальные — подчинительные.

В ритме и интонации тоже можно различить подчинительные и сочинительные формы (напр., из двух указанных выше типов союзной паузы 1-й по значению подчинительный, а 2-й — сочинительный). Но употребление их не согласуется с употреблением союзов (как и вообще ритм и интонация сложного предложения не зависят от союзов; см. выше).

В подчинении можно различать особый вид его, осуществляемый *вопросительными* союзными словами, утрачивающими в той или иной мере свое вопросительное значение и получающими в той же мере союзное значение („*куда* конь с копытом, туда и рак с клешней"; „я встретился с человеком, *который* считался погибшим"; „я не знаю, *куда* он делся"). Это — так наз. *относительное* подчинение. В зависимости от степени сохранения в союзном слове вопросительного смысла можно различать *косвенно-вопросительную* и *собственно-относительную* разновидность его, а в зависимости от *формы*, *части речи* союзного слова — *именную* и *наречную* разновидность.

В тех случаях, когда предложения, соединенные союзами или союзными словами, раз'единены разделительной синтаксической паузой, связь, устанавливаемая союзом или союзным словом, должна, конечно, изучаться, независимо от того, что сами предложения относятся к двум отдельным формам словосочетаний. Связь эта так и называется „сочинением после разделительной паузы" и „подчинением после разделительной паузы".

Всё, что мы до сих пор говорили о формах словосочетаний, относилось либо к предложениям, либо к сочетаниям предложений между собой. Поэтому, если бы мы здесь поставили окончательную точку, то у читателя явилось бы представление, что учение о *предложении* исчерпывает собой содержание синтаксиса. И действительно, учение это играет в синтаксисе

такую роль, что многие ученые прямо отожествляют его с синтаксисом. Однако, чтобы быть точными, мы должны в заключение заметить, что в языке есть слова и словосочетания, не являющиеся *ни предложениями, ни частями предложений.* Таковы прежде всего *звательные формы существительных* (так назыв. звательный падеж), одни или с зависящими от них членами. В русском языке этих форм нет, но они всецело заменяются *определенной ритмическо-мелодической фигурой,* соединенной с формой именительного падежа. Словам и словосочетаниям этим соответствуют в психологической подпочве речи не целые психологические суждения, а только отдельные *представления* (простые или сложные), не вступающие ни в какую связь с теми суждениями, в словесное выражение которых вставлены данные звательные формы. Далее сюда относятся так наз. *вводные* слова и словосочетания, являющиеся *бывшими* предложениями, утратившими вследствие частого вводного употребления свое былое психологическое значение. Наконец, сюда относятся слова, для которых вообще нет соответствующих представлений (и, следовательно, возможности участвовать в психологическом суждении), так как они обозначают исключительно *чувства* (междометия). Всё это — слова и словосочетания, стоящие вне предложений. И хотя соотношения членов внутри звательных и вводных групп ничем не отличаются от соотношений, найденных нами внутри предложений, однако сама наличность слов-форм, никогда не являющихся частями предложений и в то же время могущих быть частями словосочетаний, не позволяет отожествить учение о предложении с синтаксисом.

I.

Противоречия между школьной и научной грамматикой.

Читатель нашего введения, сохранивший какие-либо школьные воспоминания из области грамматики, конечно, обратит внимание на значительную разницу между тем, что изложено в этой книге, и тем, что он усваивал когда-то на школьной скамье. И он заметит, конечно, что разница эта совсем не та, какую он находил или мог бы найти, переходя от школьного учебника какой-либо другой науки к академическому курсу её. Там, во всех других областях, он мог найти при переходе от низшей ступени изучения к высшей иной способ изложения, иные термины, более точные определения, большее углубление в предмет, большее осмысление и обобщение фактов при помощи теорий и гипотез, наконец, большее знакомство с методами и историей науки. Но основные представления его, взятые из школы, от всего этого не изменились бы: признак делимости на 3 остался бы верен, хотя бы и оказалось, что это лишь частный случай признака делимости на всякое число; земля осталась бы в его представлении шаром, хотя бы и выяснилось, что шар этот на $^1/_{299}$ своего радиуса сплющен у полюсов, и т. д. Не то в грамматике. Здесь научное знакомство с предметом потрясает основы школьного, здесь изучающему приходится не продолжать и углублять изучение, а переучиваться. И это потому, что школьная грамматика не только упрощает факты, как всякая школьная переделка науки, но и искажает их, не только умалчивает о том, что недоступно

школьному возрасту, но и дает ложные сведения о том, что могло бы быть доступно ему. Коротко говоря, школьная разновидность грамматики не только школьна, но и ненаучна. Не предполагая в нижеследующем дать исчерпывающую критику школьных учебников и не находя даже вообще детальную работу этого рода необходимой, мы, тем не менее, считаем небесполезным выяснить здесь: 1) в чем состоит ненаучность школьной грамматики, т.-е. какие именно особенности её, какие приемы изучения, какие отправные пункты создают пропасть между ней и научным пониманием предмета, и 2) как создалась эта ненаучность, чем об'яснить этот беспримерный разлад между наукой и школьной формой её. Ответом на первый вопрос может служить следующее:

1) В школьной грамматике отсутствует историческая точка зрения на язык. Мы уже знаем, что язык непрерывно изменяется и что поэтому изучать его можно только исторически. И хотя возможны и чисто описательные труды для той или иной эпохи, и школьная грамматика для младших классов, по понятным причинам, как раз и должна ограничиваться описанием современного состояния языка, однако историческая точка зрения необходима и для всякого научного описания языка, так как при отсутствии её самое описание делается неточным, сбивчивым, ненаучным. Поясним это примерами. В школьных грамматиках говорится, что **г, к, х** смягчаются в **ж, ч, ш** (**нога — ножка, рука — ручка, муха — мушка**). Что значит это „смягчаются"? Значит ли это, что **г, к, х** фактически когда-то смягчились в русском языке, или что они сейчас, ежеминутно, в процессе речи смягчаются (что могло бы быть понято, конечно, только фигурально)? Школьная грамматика на этот вопрос не отвечает, потому что не различает вообще звукового прошлого и настоящего в языке. А отсюда возникает и неверная передача самого факта, потому что, если говорить о прошлом, то надо сказать, что **г, к, х** смягчились, т.-е. перешли в мягкие **ж, ч, ш**, что процесс этот произошел в таком-то языке (в данном случае не в русском, а еще в пра-славянском), в такую-то эпоху его (определяемую, конечно, для доисторического времени не по годам, а соотно-

сительно с другими происходившими в языке звуковыми изменениями), путем таких-то и таких-то переходных стадий, в положении перед такими-то и такими-то звуками, оказывавшими такое-то и такое-то влияние на данные звуки; если же говорить о настоящем, то ни о каком „смягчении" не может быть и речи, потому что: 1) **ж** и **ш** успели уже с тех пор отвердеть и сейчас не менее тверды, чем их предки **г** и **х**, 2) те соседние звуки, которые оказывали здесь когда-то смягчающее влияние, частью исчезли совсем из языка, частью исчезли из данных слов, частью перестали оказывать это влияние, так что сейчас при одних и тех же фонетических условиях возможны и **г, к, х** и **ж, ч, ш** (сравн.: „избегать" и „избежать", „прилегать" и „прилежать", „истекать" и „источать", „влеку" и „влачу", „лги" и „лжи", „греху" и „грешу"); очевидно, сейчас здесь не только ничто не „смягчается", но ничто и не намекает на происшедшее когда-то смягчение, и, с точки зрения современного сознания, можно говорить только о чередовании **г, к, х — ж, ч, ш** в таких-то корнях и в таких-то грамматических рядах. Так же неопределенно говорит школьная грамматика и о всяких других звуковых переходах. **Д** и **т**, напр., „переходят", по её словам, **в с** перед **т** (веду — вести, мету — мести). Значит ли это, что **д** и **т** здесь когда-то перешли в **с**, или что сейчас, перед взорами наблюдателя, они сменяют друг друга и тем создают впечатление перехода? Если первое, то это неверно, потому что **с** появилось здесь не прямо из **д** и **т**, а как результат нескольких последовательных и очень сложных звуковых переходов, на которых мы здесь не можем останавливаться; если второе, то необходимо, чтобы условный смысл слова „переходит" был ясен из контекста или оговорен раз навсегда заранее, что, конечно, невозможно, если сам автор не различает прошлого и настоящего в языке, если историческая точка зрения ему чужда. Возьмем пример из другой области, — из синтаксиса. Во всех школьных грамматиках приводятся уравнения в роде: „не видно было камышей" + „не видно было плотины" + „не видно было берегов" = „не видно было ни камышей, ни плотины, ни берегов", и на этом основании утверждается, что здесь три предложения „сливаются" в одно. Где и когда опять-таки

происходит этот процесс? В языке в какую-либо его эпоху, или в уме говорящего, или на бумаге, или в представлении автора? Неизвестно. Возьмем еще так наз. „сокращенные придаточные предложения". Термин невольно наводит на мысль о каком-то языковом процессе, о том, что где-то что-то когда-то „сократилось" или, по крайней мере, „сокращается". Между тем исторически это прямо неверно, так как те группы второстепенных членов, которые здесь имеются в виду, и те придаточные предложения, к которым они приравниваются, ничем не связаны по происхождению и развивались совершенно независимо друг от друга. Неверно это даже и с точки зрения современного синтаксического сознания, так как нельзя сказать, чтобы и сейчас в процессе речи эти краткие сочетания сознавались заместителями полных, т.-е. чтобы они были синтаксически параллельны друг другу, подобно тому, как, напр., творительный сказуемостный параллелен именительному сказуемостному. Нет, сближение тут только стилистическое, и „сокращенное" здесь = сокращенное учеником или учителем при таких-то стилистических упражнениях, при такой-то переделке текста. Но ясно, что, переделывая какой-либо текст, мы можем любое пространное выражение „сократить" на тысячу ладов, и ни с жизнью языка, ни с историей его это ничего общего не имеет. Впрочем, нужно оговориться, что есть область, где и школьные грамматики признают прошлое за языком: это — область этимологии в научном смысле этого слова (то, что называется в школе „составом слов"). Но тут другая беда: из-за прошлого они не видят настоящего, да и прошлое-то рисуется им не исторически, а скорее как-то мифологически: в каждом слове отыскивается какая-то первопричина, какой-то основной первозданный зародыш слова,именуемый „корнем", а всё, что окружает этот зародыш, разбивается более или менее произвольно на приставки, суффиксы, флексии. Понятно, что в результате не только история состава отдельных слов искажается (да и как могла бы она быть прослежена без связи со звуковым прошлым языка?), но и описание современного морфологического состава языка делается неверным: суффиксы индо-европейского пра-языка и других пра-

языков почти все приписываются современному русскому языку, а настоящие русские, современные суффиксы совсем не упоминаются (примеры см. гл. III, а также „Русск. синтаксис", стр. 19—22).

2) В школьной грамматике отсутствует и чисто описательная точка зрения, т.-е. стремление правдиво и об'ективно передать современное состояние языка (хотя бы только книжного или даже только языка тех или других авторов). Если в школьных грамматиках и говорится, что такая-то форма или такой-то оборот „употребляется", а такой-то „не употребляется", то тут, в сущности, психологический центр тяжести лежит для автора не в самом факте употребления, а в том, можно употреблять или нельзя, следует или не следует. Дело в том, что школьная грамматика преследует исключительно практические цели: научить „правильно читать, писать и говорить". Так как при этом она обращается к читателю, уже владеющему языком (поскольку речь идет об устном и родном языке), то понятно, что целью её становится научить литературному наречию данного языка, отучить школьника от особенностей детской, областной и разговорно-литературной речи, провести в его языковом сознании резкую разграничительную черту между литературным и нелитературным, „правильным" и „неправильным". Но так как литературное наречие не есть нечто, данное наблюдателю извне, как все другие наречия и говоры языка, а есть нечто, культивируемое исторически, создаваемое в значительной мере усилиями отдельных авторов и отчасти самих грамматистов, то понятно, что полной об'ективности здесь по самому существу дела быть не может. При решении вопроса, что литературно и что нелитературно, личным вкусам грамматиста открывается широкая дорога. Этим об'ясняются многие традиционные искажения в области синтаксиса (напр., исключение из описания, или даже об'явление „неправильными" таких употребительнейших в классической литературе оборотов, как сказуемостное сочетание с полной формой прилагательного, винительный при отрицании, именительный самостоятельный), а отчасти и морфологии (напр., умолчание о таких деепричастиях, как: „прийдя",

„увидя", „услыша" и т. д., едва ли не более частых, чем: „пришедши", „увидев" и т. д.). Нужно, впрочем, оговориться, что сама по себе практическая точка зрения, конечно, не обусловливает еще искажения науки. Ведь, напр., в коммерческой арифметике или счетоводстве арифметические истины остаются те же, в зоотехнике или садоводстве технические описания животных и растений не противоречат зоологическим и ботаническим описаниям их. Точно так же и при описании русского литературного наречия, по крайней мере в настоящий момент, когда оно уже вполне сложилось и может служить материалом для исследователя, вполне возможно было бы отделить то, что сообщается как наблюдение, от того, что сообщается как пожелание или предписание. Наконец, даже отказавшись совершенно от наблюдений над языком и избравши исключительно практический путь правил и предписаний, почерпнутый откуда-нибудь из вторых рук или из личных вкусов, можно было бы избежать прямых противоречий фактам языка, избирая более точные выражения, говоря, напр., „не следует употреблять" вместо „не употребляется" и т. д. Но для всего этого надо опять-таки, чтобы автор сам различал научную и практическую точки зрения, т.-е. чтобы он имел представление о языке, как самодовлеющем предмете наблюдения и изучения. А именно этого-то и нет у школьных грамматистов. Практика не вредна, когда она прямо или косвенно, хотя бы через многие передаточные инстанции, опирается на теорию. Там же, где царит одна практика и где она претендует на самостоятельное существование, научного знания быть не может.

3) При об'яснении явлений языка школьная грамматика, в связи с общим своим взглядом на язык, как на нечто намеренно, с общего согласия устанавливаемое и охраняемое, руководится устарелой телеологической точкой зрения, т.-е. об'ясняет не причинную связь фактов, а целесообразность их, отвечает не на вопрос „почему", а на вопрос „зачем". Сюда относится об'яснение звуковых фактов тем, что они существуют „для благозвучия", об'яснение форм и оборотов речи тем, что они существуют „для выражения" или для „различения" того-то и того-то, и т. д. Так как дело идет как раз

об языке, явлении органическом и потому действительно внутренно-целесообразном, то во многих случаях такого рода об'яснение вскрывает отчасти (но всегда только отчасти, как и в биологии) и причины явления. Но в некоторых случаях об'яснение оказывается совершенно фантастическим. В сочет., напр., „в нем", „с ним", „в них", „с ними" и „вставляется", по словам школьных грамматик, „для благозвучия". Историческое же изучение языка показывает, что н принадлежит здесь самим предлогам, пра-славянская форма которых была в известной категории случаев вън и сън, так что н здесь никогда не „вставлялось", а, напротив, в более новое время стало иногда выбрасываться (сравн. в говорах: „в ем", „с ими" и т. д.). Так же неверно и утверждение школьных грамматик, что в сочет.: „во сне", „ко мне", „со мной" о „вставлено" в предлогах „в", „к", „с" „для благозвучия", и все другие утверждения этого рода.

4) Все классификации школьной грамматики (и это её главный недостаток) логически неправильны, так как нарушают известное логическое правило об „основании деления", по которому всякое деление производится по одному какому-либо признаку. В самом деле, никто не станет делить людей на умных, глупых и блондинов или музыку — на вокальную, инструментальную и веселую, потому что всякому ясно, что тут смешиваются признаки деления. Если жизнь и создает иногда такие классификации (напр., в книжных каталогах отделы научный, беллетристический и детский, в газетных сообщениях исчисление поступающих в университет дворян, крестьян, мещан и евреев), то в науке во всяком случае им не место. И в области естествознания, напр., какой бы прикладной характер ни носила книга, не может встретиться деление тел на твердые, жидкие и углеродистые или что-нибудь подобное. Школьная же грамматика сплошь заполнена именно такими классификациями. В частности, в ней смешиваются:

а) Грамматические признаки с семасиологическими. Наилучшим примером являются 9 частей речи школьной грамматики. Если делить слова по грамматическим при-

знакам, то такие слова, как: „второй“, „такой“ и „золотой“, или „свеча“ и „тысяча“, никак не могут быть отделены друг от друга, потому что они грамматически тождественны. Если же делить слова по семасиологическим признакам (т.-е. по вещественным значениям), то такие слова, как: „какой“, „такой“, „иной“, никак не могут быть отделены от „как“, „так“, „иначе“; такие, как: „три“, „третий“, „пять“, „пятый“, от „трижды“, „тройной“, „утраивать“, „тройка“, „пяток“; такие, как: „борьба“, „ходьба“, „разговор“, от „борюсь“, „хожу“, „разговариваю“, и т. д. Всё дело в том, что, как человек может быть одновременно и умным, и блондином, так и слово может быть одновременно и прилагательным, и местоимением („такой“); и глаголом, и числительным („утраиваю“); и прилагательным, и предметным словом („каменный“); и существительным, и качественным словом („белизна“), и т. д. Школьная же грамматика, а тем более практика требуют, чтобы каждое слово непременно было отнесено к одному какому-нибудь разряду, при чем в одних словах выдвигаются на первый план грамматические признаки (напр., в глаголах), а в других — вещественные (напр., в местоимениях). То же смешение проводится нередко и внутри этих 9 разрядов. Так, разница между „личными“ и „притяжательными“ местоимениями — только грамматическая (ведь, по вещественным значениям „мой“, „твой“, „наш“, „ваш“ тоже, конечно, личные слова), а между „притяжательными“ и „указательными“ — только семасиологическая. И вообще семасиология широкой струей вводится в грамматику, потому что самое разделение слов на вещественную и формальные части не признается. Поэтому определения всем разрядам даются чисто семасиологические: глагол есть просто „слово, обозначающее действие или состояние“, прилагательное — „слово, обозначающее признак“, и т. д. А так как при таких определениях „борьба“ и „спячка“ подойдут под глаголы, а „белизна“ — под прилагательное, то в существительном приходится ввести чисто-семасиологические разряды „умственных“ и „чувственных“ предметов (термины ужасны, потому что, если понимать эти категории как поправку к семасиологическому определению существитель-

ного; то такие предметы, как: „запах", „тепло", „холод", „боль", „пощечина", приходится об'являть умственными, а такие, как: „Бог", „душа", — чувственными). Точно так же в прилагательном устанавливаются, в сущности, семасиологические (хотя и связанные с некоторыми грамматическими отличиями) разряды качественных и относительных прилагательных, в наречии — уже совершенно никакого отношения к формам данных слов не имеющие (да к тому же и семасиологически не безупречные) разряды места, времени, цели, причины, образа, количества и т. д. Правда, некоторые семасиологические разряды необходимы для орфографии (напр., деление существительных на собственные и нарицательные). Но они, собственно, и не мешали бы, если бы не признавались соотносительными с другими грамматическими разрядами, т.-е. если бы при всяком делении было ясно, по какому признаку оно производится.

b) Грамматические признаки смешиваются с логико-психологическими. На этом смешении основан весь школьный синтаксис. Родительный падеж существительного смешивается с согласуемым прилагательным (дом отца = отцовский = определение), косвенный падеж существительного с неграмм. наречием (был в деревне = где = обстоятельство), инфинитив с косвенным падежом существительного (хочу есть = еды = дополнение) или с глаголом (не бывать тебе = ты не будешь = сказуемое); наконец, в некоторых случаях, все части речи и чуть ли не все формы между собой (был добрый, добряк, добряком, добрее, не без доброты и т. д. = составное сказуемое). Точно так же целые группы форм по их логико-психологическому значению приравниваются к одной какой-нибудь форме („пять человек" — подлежащее или дополнение), целые предложения — к отдельным членам предложения („который гуляет" = „гуляющий", „когда пришел" = „прийдя"). Можно сказать, что от грамматики не остается в школьном синтаксисе камня на камне, потому что вся она последовательно подменена здесь логикой и психологией. Огромное значение получает при этом совершенно ненаучный метод вопросов, на котором мы остановимся подробнее в следующей главе.

с) Морфологические признаки — с синтаксическими. Сюда относятся те же 9 частей речи, в которых форменные слова смешиваются с бесформенными, морфологические разряды с синтаксическими (напр., такие части речи, как союз или междометие, совершенно не отличимые друг от друга морфологически и совершенно не соотносительные синтаксически ни друг с другом, ни, тем более, с разрядами полных слов). Сюда же относятся и залоги школьной грамматики, где, впрочем, смешиваются уже три точки зрения: морфологическая, синтаксическая и семасиологическая.

Нужно еще заметить, что вследствие неправильности и недостаточности всех этих делений (а также и вследствие невозможности вообще резких разграничений во всем, что так или иначе связано с живой природой) множество слов и сочетаний остается за бортом школьной грамматики, не подходя ни под один из её разрядов. А так как школьная практика требует всё же размещения этих слов по разрядам, то создались особые свалочные места, куда сбрасывается всё, что не удается никуда пристроить. Таким свалочным местом является для морфологии „наречие", куда относятся и такие слова, как: „вчера", „прямо", „так", „столько" (хотя „сколько" считается местоимением), и такие, как: „конечно", „может быть", „да", „нет", и такие, как: „не" и „ни", и такие, как: „разве", „неужели"; для синтаксиса таким свалочным местом служит „приложение", куда попадает всё, что не вяжется грамматически с предыдущим и тем не менее так или иначе „приложено" к нему.

5) Во многих случаях ложность школьно-грамматических сведений об'ясняется и не методологическими промахами, а только отсталостью, традиционным повторением того, что в науке уже признано неверным. Сюда относится, напр., почти вся классификация звуков, сплошь противоречащая данным современной физиологии звуков речи. Из „этимологии" (в школьном смысле) сюда относится традиционное определение местоимения, как слова, употребляющегося „вместо имени", определение совершенно внешнее, условное (потому что и имена, ведь, могут употребляться одно вместо другого) и не применимое к некоторым школьным же местоимениям

(напр., к таким, как: „весь", „самый"), почему школьнику и необходимо для отличения местоимений от не-местоимений заучить предварительно какой-нибудь список местоимений наизусть (работа совершенно схоластическая). Сюда же можно отнести и традиционную отсталость от языка, причисление к современным совершенно вымерших уже слов и оборотов (спряжение глагола „есмь", такие наречия, как: „негде", „инде", такие обороты, как: „быть убиту", „быть найдену", и т. д.).

Быть может, у некоторых читателей возникнет предположение, что все эти недочеты и искажения неразрывно связаны с той практической ролью, которая отводится и, может быть, должна отводиться в школе грамматике, что научную грамматику нельзя было бы приспособить к нуждам орфографии и стилистики. Но против такого предположения мы восстали бы самым решительным образом. Ни в одной области практика не требует искажения теории. Почему грамматика была бы исключением? Напротив, любое орфографическое правило гораздо проще и точнее может быть формулировано на почве научной грамматики, чем школьной. Что проще, напр., говорить об особенностях в окончаниях таких-то и таких-то „личных местоимений" или „неправильных существительных", „притяжательных, указательных, определительных и т. д. местоимений" или „неправильных прилагательных", говорить о запятых при „сокращенных определительных предложениях", „сокращенных обстоятельственных предложениях", „слишком распространенных членах предложения с предлогом" (иначе: „распространенных обстоятельствах"), „приложениях", „несогласуемых приложениях" (иначе: „вторых обстоятельствах, поясняющих первое") — или просто о запятых при всяком второстепенном члене или группе членов, произносимых с такой-то и такой-то интонацией, которая должна быть, конечно, изучена практически на уроках выразительного чтения)? Есть даже такие случаи, где только научная грамматика могла бы обслуживать орфографию и где школьная грамматика практически бессильна именно вследствие своей ненаучности. Почему, напр., мы пишем: „возня",

„басня“, „кости“, „мысль“ и т. д., а не „возьня“, „басьня“, „косьти“, „мысьль“ и т. д.? Не вдаваясь в этимологию слов, можно было бы создать здесь простое (хотя и изобилующее, как водится, исключениями) правило: „перед мягким согласным ь не пишется“. Но такого правила школьная грамматика выставить не может, так как твердых и мягких согласных она не признает (хотя ъ и ь считаются „знаками твердости и мягкости“), а признает только твердые и мягкие гласные (которые на самом деле не могут быть ни тверды, ни мягки). Точно так же и всевозможные стилистические упражнения и переделки нисколько не требуют грамматического приравнения одних выражений другим. Они, напротив, только выиграют от сосредоточения внимания ученика на грамматических различиях заменяющих друг друга выражений, ибо даже с чисто стилистической точки зрения важен не только факт замены, но и те оттенки, которые при этом достигаются. Мы также не хотим, чтобы читатель подумал, что мы отрицаем полезность всевозможных семасиологических и логических упражнений для детей или считаем совершенно невозможным подкреплять их в той или иной мере соответствующими теоретическими сведениями. Может быть, всё это даже доступнее, полезнее и нужнее, чем грамматические упражнения и сведения. Мы только не усматриваем, почему изо всего этого должна изготовляться та хаотическая смесь, которая в школе называется „грамматикой“.

Теперь перейдем к ответу на второй наш вопрос — о причинах ненаучности школьной грамматики. Намек на этот ответ дан нами уже в предисловии к „Русск. синтаксису“, где указано, что языковедение — наука очень молодая. И действительно, в истории языковедения, как, впрочем, и в истории всякой науки, резко различаются донаучный и собственно-научный периоды развития. Донаучный тянется на протяжении тысячелетий, от доисторических времен (ибо первые знания о языке возникают вместе с письменностью) до начала XIX столетия; собственно-научный возникает только около этого времени. В 1816 году вышел труд Боппа: „О системе спряжения в санскрите в сравнении с таковою в греческом, латинском,

персидском и немецком языках", в котором впервые был последовательно применен сравнительный метод изучения грамматического состава языков (указания на необходимость такого метода и попытки применения его были и раньше) и впервые было неопровержимо доказано взаимное родство указанных в заглавии языков; а в 1819 г. вышел 1-ый том немецкой грамматики Якова Гримма, где также последовательно проведен был исторический метод изучения языка. Оба эти метода были согласованы и слиты последующим развитием науки в один сравнительно-исторический метод, который и является душой современного языкознания. Около этого же времени (в 1836 г.) вышло знаменитое рассуждение Вильгельма Гумбольдта: „О различии в строении человеческих языков и о его влиянии на духовное развитие человечества", пытавшееся подвести психологический фундамент под языковую деятельность человека, подчеркивавшее различия в мышлении народов, зависящие от различий в языках их и тем освобождавшее языковедение из-под ферулы логики. Последовавшие затем успехи психологии дали возможность продолжателям этого направления Штейнталю и Лацарусу и его завершителю Паулю подвести внутреннюю сторону языковой деятельности под обще-психологические законы, а в то же время сравнительно-исторический метод открыл во внешней стороне её специальные фонетические законы; так и создалось изучение законов развития языков человеческих, т.-е. научное языковедение. Всё, что делалось в области изучения языков до этого времени, не могло дать хотя бы какое-нибудь понимание языковых явлений вследствие отсутствия специального, соответствующего самой природе предмета метода изучения, а также и вследствие того, что отправным пунктом служила наука, которая сама должна отправляться от языка (логика). А так как практически грамматическое изучение языков всё-таки было необходимо (письменность, толкование устарелых по языку священных и литературных текстов, риторика, стилистика), то мало-по-малу слагались до-научные схемы классификации, термины, образовавшие определенный школьно-грамматический канон. Этот-то канон, сложившийся в основе своей уже в

конце александрийского периода греческой истории, и сохраняется в настоящее время, как пережиток, в европейской школе.

В частности, для синтаксиса, как для отдела о формах языковой мысли по преимуществу, упомянутая выше односторонняя „логическая“ разработка предмета была наиболее естественна и — наиболее пагубна. В этом отношении мы наблюдаем интересный регресс в истории языковых знаний. Древние греки понимали под синтаксисом то-же, что понимает сейчас научное языковедение: учение о сочетаниях, о конструкциях. У „отца“ синтаксиса Аполлония Дискола (II в. по Р. Х.) мы не находим еще учения о членах предложения, а только учение о согласовании и управлении (последнее, впрочем, несколько в ином смысле, чем у нас). Из наших традиционных членов предложения одно только сказуемое было намечено в древности (Аристотель, стоики). Всё остальное в этой области начало разрабатываться только в средние века схоластиками, и разработка получилась, понятно, соответственно общему духу эпохи, отвлеченно-логическая. На язык смотрели, как на воплощение идеальных, логических форм мышления. Всё своеобразное, характерное для данного языка или для данной эпохи, т.-е. всё собственно-языковое, рассматривалось, как случайное, добавочное уклонение или искажение предполагаемого основного идеального типа языка, стоявшего в центре изучения. На этой почве возникла в конце концов особая наука — „всеобщая грамматика“, имевшая предметом изучения, с современной точки зрения, чистую фикцию — единый общечеловеческий „разумный“ язык, как выражение единой общечеловеческой логики. В этой-то „всеобщей грамматике“, преподававшейся во второй половине XVIII века и в первой половине XIX в европейских университетах и покончившей свое существование только с развитием современных реально-научных воззрений на язык (см. выше), и были установлены окончательно наши традиционные члены предложения в их логическом толковании, традиционные термины для них, традиционные методы вопросов и приравнения одних выражений к другим, словом, всё то, что затем перешло в школу и называется там доныне „синтаксисом“.

II.

Школьный разбор и научная грамматика.

Какова бы ни была грамматическая теория, центр тяжести в занятиях с младшими классами падает, конечно, не на неё, а на грамматические упражнения и среди них в первую голову на так назыв. „разбор“. В нижеследующем мы сочли небесполезным дать примерные образцы полного грамматического разбора, согласованного с теоретическими положениями нашими, сопроводив их необходимыми пояснениями. В качестве материала избираем начало „Бежина Луга“:

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра ... Но вот, опять хлынули играющие лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило.

А. Морфологический разбор.

1. Разбор по частям речи и всем непосредственно связанным с ними формам.

„Бы-л“*) — глагол, прошедш. вр., изъявит. накл., мужеск. род, единств. число, невозвратн. зал.**); „прекрасн-ый“ — имя прилагательное, имен. пад., единств. число, мужеск. род, полное окончание***); „июльск-ий“ — тот же разбор; „ден-ь“ — имя существительное, именительно-винительн. пад., единств. ч.,

*) Расчленение ведется, ради орфографии, по буквам, а не по звукам.

**) Формы вида мы относим к следующей рубрике как потому, что они встречаются и у других частей речи (отглагольных существительных и прилагательных), так и потому, что необходимая для данной рубрики точная классификация их еще не разработана.

***) Полноту или краткость окончания мы указываем только при тех прилагательных и тех падежах, где в языке существует двоякое окончание. Разумеется, второе окончание должно быть тут же указано, и отличия того и другого отмечены.

мужеск. р., мужеско-среднее склонение*); „один“ — имя прилаг., имен. пад., ед. ч., муж.р.; „из“ — бесформенн. слово; „т-ех“ — имя прилаг., род. пад., множ. ч., всех родов, неправильн. оконч.; „дн-ей“ — имя существит., род. п., множ. ч.; „случа-ют-ся“ — глагол, настоящ. вр., из'яв. накл., 3-е лицо, множ. ч., 1-е спряж. возвратн. зал. (при отсутствующем невозвратном); „только“, „тогда“, „когда“ — бесформ. слова; „погод-а“ — имя существ., именит. пад., ед. ч., женск. р., женск. склон.; „установи-л-а-сь“ — глагол, прошедш. вр., из'яв. накл., женск. р., ед. ч., возвратн. зал.; „надолго“, „с“ — бесформ. слова; „сáм-ого“ — имя прилаг., род. пад., ед. ч., мужеск. р.; „ранн-его“ — тот же разбор; „утр-á“ — имя существ., род. пад., ед. ч., средн. р., мужеск.-средн. склон. (сравнить с „у́тр-а“); „неб-о“, — имя существит., именительно-вин. пад., ед. ч. (отметить различие в основе между единств. и множ.), средн. р., мужеско-средн. скл.; „ясн-о“ — форма, общая для имени прилагательного в средн. р. ед. ч. с кратк. оконч. и для наречия в полож. степени; „он-а“ — имя сущ., имен. п. (отметить различие в основе между им. и остальными пад.), ед. ч., женск. р.; . . . „кротк-им“ — имя прил., форма, общая для творит. пад. ед. ч. муж. и ср. р. и дат. пад., мн. ч. всех родов; „раскал-енн-ое“ — причастие, именительно-вин. пад., ед. ч., средн. р., полное оконч., прошедш. врем., страд. зал.; . . . „знойн-ой“ — имя прил., родительно-дательно-творительно-предложный пад., ед. ч., женск. р.; „засух-и“ — имя сущ., форма, общая для род. п. ед. ч., женск. р., женск. склон. и для именительно-вин. пад., множ. ч.; . . .

*) Так как школьные грамматисты никак не могут выработать однообразной нумерации склонений, то мы, во избежание обычной путаницы, вводим, по примеру проф. Р. Ф. Брандта, особые термины для каждого из склонений: „мужеско-среднее склонение“ (стол, конь, обычай, слово, поле), „женское склонение“ (вода, пуля), „женское еревое склонение“ (кость) и „среднее неправильное склонение“ (время). Так как во множественном числе все эти склонения частью совпадают (в дат., твор. и предл. пп.), частью перемешиваются (в имен. и род. пп.), то для множественного числа мы разделения на склонения не признаем. Не признаем мы и рода во множ. числе (см. Р. Ф. Брандт, „Лекции по ист. русск. яз.“ М. 1913. Стр. 80) за исключением окончания род. пад. „-ов“, „-ев“, которое для литературного наречия следует признать исключительно мужеским. Формы числа и рода существительных помещаем в этой рубрике в виду их звуковой слитности с формами падежа.

„мирн-о“ — см. „ясно“; . . . „свеж-о“ — см. „ясно“; . . . „**про**сия-е-т“ — глагол, будущ. вр. (сравн. „сияет“), из'яв. накл., 3-ье л., ед. ч., 1-е спряж., невозвратн. зал.; „погруз-и-т-ся“ — глагол, будущ. вр. (сравн. „погруж-а-ет-ся“), из'яв. накл., 3-ье л., ед. ч., 2-е спряж., возвратн. зал.; . . . „ей“ — имя сущ., род. пад., ед. ч., женск. р., неправильн. оконч.; „туман“ — имя сущ., именит.-вин. пад., ед. ч., мужеск. р., муж.-ср. склон.; „растяну-т-ого“ — причастие, род. пад., ед. ч., мужеск. р., прош. вр., страд. зал.; . . . „подоб-ен“ — имя прил., мужеск. р., ед. ч., кратк. оконч.; . . . „игра-**ющ-ие**“ — причастие, имен. вин. пад., множ. ч., мужеск. р., настоящ. вр., действ. зал.*); . . . „взлета-**я**“ — деепричастие, настоящ. вр., действ. зал.**).

Применяя при этом разборе установленные в „Русск. синтаксисе“ грамматические категории, мы старались вместе с тем избегнуть двух недостатков обычного школьного разбора этого вида: 1) внесения синтаксического элемента, 2) оторванности значений форм от звуковой стороны их. Что касается первого, то нам кажется несомненным, что раз морфологический разбор признается нужным **рядом** с синтаксическим, то, очевидно, он привлекается к делу именно ради отличий его от синтаксического, т.-е. именно как **морфологический**, и цель его, в таком случае, — сосредоточить внимание ученика на отдельных формах, познакомить его (или проверить знакомство) с морфологическим составом языка. Заставлять его производить при этом мысленно и синтаксический разбор по членам предложения (без чего нельзя отличить винительный пад. от именительного и родительного, наречие от краткой формы прилагательного в средн. р. и. т. д.) — значит отвлекаться от этой цели. Конечно, в качестве контроля **быстроты** грамматических навыков, иной раз может оказаться полезным внезапное внесение синтаксических вопросов в морфологи-

*) Для причастий мы принимаем три залога: „делающий“ — „делающийся“ — „делаемый“. Называя второй возвратным, а 3-й — страдательным, нам пришлось бы назвать первый — „невозвратно-нестрадательным“, во избежание чего мы и назвали его просто „действительным“ оговаривая более широкий смысл нашего термина по сравнению со школьным.

**) То же.

ческий разбор (и обратно). Но, как система, как постоянный прием, такое смешение ничем не оправдывается. Что касается второго пункта, то нам опять-таки представляется непонятным, зачем определение значений всех этих форм относить к одному роду упражнений, а нахождение звуков, имеющих эти значения, — к другому виду (расчленение слов по составу). Мы, напротив, считаем, что именно в установлении связи между значениями и звуками (в нашей схеме, по условиям места, лишь слегка намеченной) и должна состоять работа ученика. Поэтому не только соответствующие формальные части, но и чередования звуков и ударения, имеющие формальное значение, должны тут быть найдены. Если ученик говорит, что „рекú" — род. пад. ед. ч., но не знает при этом, почему это род. ед., а не имен. множ., т.-е. не сопоставляет этой формы с „рéки", если он говорит, что „подобен" — мужеский род, но не улавливает значения для этой формы вставного е, т.-е. не сопоставляет её с „подобна" и „подобно", если он находит в формах: „пёк", „рос", „лез", „пас" и т. д. прошедшее время, но не замечает отсутствия суффикса прошедшего времени, если он находит в глаголе так наз. „будущее простое" (как „погрузится", „просняет"), т.-е., в сущности, форму с флексией настоящего времени и со значением будущего, и не понимает, почему она имеет значение будущего, какой суффикс, какая приставка или какое чередование создают это значение (а в этом отношении чуть не каждый глагол индивидуален), — то он не решил данной морфологической задачи. Если он и определил форму верно, то, очевидно, только благодаря мысленно проделываемому им тут же (или предшествовавшему) синтаксическому разбору или, что еще хуже, благодаря вещественной стороне текста (напр., время глагола, если при нем имеется „завтра" или „вчера", число существительного, если при нем имеется „многие" или „несколько", и т. д.). Подсознательная сторона отдельной формы так и осталась для него подсознательной. Цель грамматического упражнения не достигнута. Другое дело, нужен ли морфологический разбор по частям речи в школе, доступен ли он ей, а если нужен и доступен, то в какой именно форме, в какой мере, в

какой стадии обучения, с каким распределением труда между учителем и учеником, с каким выбором слов и т. д., и т. д. Всего этого мы здесь не можем касаться. Мы только указываем, что если он признается нужным и доступным, то принципы его должны быть вышеуказанные. Только в этом случае он будет представлять известную умственную работу и давать знакомство с языком. В настоящее же время разбор этот, как это знает всякий учитель, труден только постольку, поскольку в него вносится синтаксис (винительный падеж), сам же по себе представляет типичнейший „бег на месте".

II. Разбор остальных форм слов.

„Июль-**ск**-ий" — суффикс, показывающий отношение к предмету или признаку, выраженным в основе; „**у**-станов-**и**-лась" приставка „у" со значением приведения действия к определенному результату (сравн.: „**у**лечься", „**у**сесться", „**у**просить", „**у**говорить" и т. д.), суффикс „и" образует глагольные основы 2-го спряжения (значение утрачено); „ран-**н**-его" — суффикс, показывающий отношение к предмету или признаку, выраженному в основе; „утр-**енн**-яя" — то же; „пыл-**а**-ет" — суффикс глагольных основ 1-го спряжения (значение утрачено); „**раз**лив-**а**-ется" — приставка „раз" со значением направления движения в разные стороны, суффикс „а" см. выше; „румян-**ц**-ем" — суффикс со значением предмета, обладающего данным качеством (сравн.: „червонец", „багрянец", „сырец", „холодец" и т. д.); „огн-**ист**-ое" — суффикс со значением внешнего сходства с предметом или признаком, выраженными в основе (сравн.: „золотистый", „серебристый", „маслянистый", „водянистый", „мглистый", „бархатистый" и т. д.); „**рас**-каленное" — приставка со значением полного развития действия (сравн.: „**раз**играться", „**раскраснеться**", „**рассвирепеть**", „**раскричаться**" и т. д.); „зной-**н**-ой" — см. выше; „тускл-**о**-багровое" — суффикс, служащий для основосложения; „приветн-**о**-лучезарное" — то же; „мир-**н**-о" — см. выше; „**вс**-плыв-**а**-ет" — приставка „вс" (другие виды: „вз", „воз", „вос", привести примеры) со значением направления движения снизу вверх, суффикс „а"

см. выше; ... „туч-к-ой“ — уменьшительный суффикс; „**про**-спяет“ — приставка со значением законченности действия; ... „тон-к-ий“ — суффикс, показывающий отношение к предмету или признаку, выраженным в основе; ... „рас-тянутого“ — см. выше „разливается“; ... „за-сверкает“ — приставка со значением начала действия; ... „вз-летая“ — см. выше „всплывает“.

Как в предыдущем упражнении мы стремились прикрепить формальные значения к звукам, так здесь стремимся о с м ы с л и т ь звуки значениями, потому что здесь школьный разбор грешит как раз противоположным недостатком. И если разбор по частям речи, оторванный от звуковой стороны, превращается в механическое пережевывание одного и того же или в фантазирование, то расчленение слов по составу, оторванное от внутренней стороны, является просто звуковой забавой, игрой. Чтобы быть убежденным, что данная формальная часть действительно существует в данном слове, ученик непременно должен представлять себе её значение, потому что иначе она и не выделится для него как формальная часть, а только как своего рода внутренняя рифма, как случайное созвучие. Другой вопрос, должно ли и может ли быть формулировано это значение, или достаточно, чтобы ученик понимал его. Но, во всяком случае, тот ряд слов, который заключает в себе ту же формальную часть с другими основами, тогда как в науке уже для индо-европейского пра-языка признается в настоящее время наличность двухсложных непроизводных основ, и который непременно должен быть привлечен к делу при отыскании в с я к о й формальной части, должен быть внутренно-целостным рядом, должен заключать в себе слова не только с той же формальной частью, но и с тем же з н а ч е н и е м её. Если, напр., ученик в параллель к „засверкает“ приведет: „засунет“, „заденет“, „заложит“, где „за“ обозначает уже не начало действия, а известное направление действия, или в параллель к „установилась“ приведет „удалилась“, „ушла“, „уехала“, где „у“ опять-таки обозначает нечто совсем иное, то он будет скользить по поверхности явления, будет играть в звуки, и знакомства с языком это не даст. Отсюда вытекает и

другой принцип: упражнять ученика в разборе только таких форм, которые ясно сознаются в современном русском языке. Если, напр., в слове „могучий“ суффикс „уч“, в связи с некоторыми изменениями в значении всего слова, уже не так ясно сознается, как в словах: „ползучий“, „летучий“, „шипучий“, „колючий“, „линючий“ и т. д. (потому что „могучий“ ведь не просто = „такой, который может“, как „ползучий“ = „такой, который ползает“), то и требовать обнаружения этого суффикса от ученика нельзя. Если слово „прекрасный“ не столько напоминает „красоту“, „красу“, „красивость“ и т. д., сколько „красный“, „красноту“ и т. д., то, очевидно, только на ряду с „пребелый“, „пречерный“, „прежелтый“ и т. д. оно и распадается на „пре-крас-н-ый“, в смысле же красивости неразложимо. Мы уже не говорим о лже-лингвистическом отыскании древнейшего корня, составляющем сейчас центр школьных упражнений этого рода. „Корень“ должен быть для ученика только современной непроизводной основой (см. „Русск. синт.“ стр. 7) и ничем более. Значение такой основы должно быть наиболее ясно ученику, потому что иначе он не поймет значения ни одной формальной части: ведь их он может схватить только как известные оттенки в значении корня. Между тем, в настоящее время стремление довести корень до наибольшей „древности“ (иногда путем совершенно фантастических этимологий) и краткости (некоторые даже думают, что корни должны быть непременно односложными, тогда как в науке уже для индо-европейского пра-языка признается в настоящее время наличность двухсложных непроизводных основ) приводит к полной непонятности для ученика того звукового обрубка, который остается после отсечения всевозможных суффиксов и приставок (выученных заранее). Так, возвращаясь к нашему тексту, можно с уверенностью сказать, что в слове „случаются“ ученик, приученный видеть в формах лишь внешность и отыскивать в каждом слове что-то древнейшее, найдет корень „-луч-“ и приставку „с-“, в слове „погода“ найдет корень „-год-“ и приставку „по-“, в слове „ясно“ — корень „яс-“ и суффикс „-н-“, в слове „кроткий“ — корень „крот-“ и суффикс „-к-“, и т. д. Но что

значат эти: „-луч-“, „-год-“, „яс-“, „крот-“, он, конечно, не будет знать, а, следовательно, не будет понимать и того, какие изменения вносят в значения этих корней формальные части: „с-“, „по-“, „-н-“, „-к-“. И ничто не помешает ему сблизить, напр., „случаются“ не только с родственным „получают“, но и с „лучом“, и с „лучше“, и с „разлукой“, и с „луком“-оружием а, может быть, даже и с „луком“-растением. Если учитель как раз знает этимологию слова, то он одернет ученика, но ученик не будет знать, почему одна фантазия хуже другой (ибо связь „случаются“ — „получают“ для него тоже фантастична), и раз навсегда усвоит себе взгляд на все эти этимологии, как на нечто условное, произвольное. Разумеется, мы отнюдь не хотим этим сказать, что историческая сторона дела совершенно недоступна ученику младших классов. Напротив, по личному опыту мы можем утверждать, что осторожное введение исторического элемента и возможно, и целесообразно, в смысле оживления предмета, и, наконец, даже практически необходимо в некоторых случаях (для орфографии). Но элемент этот должен исходить исключительно от учителя и должен преподноситься ученику в форме живой, наглядной и убедительной истории слова, а не в виде догматического утверждения, что „здесь корень такой-то“. Так, возвращаясь к нашему „случаются“, учитель может указать на древнецерк.-славянское „лучити“ = случайно получать, находить, наталкиваться на что (при чем должен привести это слово в связи, в цитатах, чтобы оно для ученика ожило), на древне-церк.-слав. „лучаи“ = нашему „случай“, на областные: „лучиться“, „прилучиться“, „полу́чай“ (смотря по местности, где находится школа, и во всяком случае в цитатах). В зависимости от большей или меньшей трудности слова, от степени собственной подготовки, от того, на какие языки и наречия можно в данной школе и в данном классе ссылаться (а кое-какой исторический материал дается во всякой школе молитвами и евангелием), учитель может вскрыть перед учениками ближайшее или более отдаленное прошлое слова. Но во всяком случае ученику (а тем более учителю) должно быть ясно, что это прошлое, и что угадать его нельзя, а надо изучить.

Самостоятельные же упражнения учеников могут и должны состоять только в самонаблюдении, т.-е. в наблюдении того, что есть в их собственном языке, а не в бессильных лженаучных попытках проникнуть путем догадки в историю слова. Что касается са́мого термина „корень", то он, конечно, сам по себе безвреден и, надлежащим образом раз'ясненный, является даже метким сравнением: как растение не происходит из корня, а из семени, в котором есть уже в зачаточном состоянии и корень, и стебель, и листья, так и слово происходит из соответствующего слова индо-европейского пра-языка (если только не образовано позднее) и заключало в себе в этом языке уже и корень, и приставки, и суффиксы, и флексии; и как растение прикрепляется корнем к земле, так слово своим корнем — к вещественному миру наблюдения и опыта.

В. Синтаксический разбор.

Расчленяя весь отрывок на крупнейшие синтаксические целые, т.-е. на сложные предложения и на соотносительные с ними по ритму и интонации простые, ведем разбор в порядке этих целых.

I. „Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго" — сложное предложение, состоит из трех отдельных предложений, соединенных по способу подчинения: 1) „был прекрасный июльский день, один из тех дней", 2) „которые случаются только тогда", 3) „когда погода установилась надолго". Первое — главное; второе — придаточное 1-ой степени, подчиненное посредством грамматически относительного союзного слова „которые"; третье — придаточное 2-ой степени, подчиненное посредством относительного союзного слова „когда".

1) „Был прекрасный июльский день, один из тех дней". Знаменательные члены: „был" — сказуемое; „день" — подлежащее; „прекрасный", „июльский", „один" — определения (последнее обособлено), согласованные со сл. „день"; „дней" — дополнение в родительн. падеже, управляемое словом „один"

посредством связки „из“; „тех“ — определение, согласованное со сл. „дней“. Служебные члены: „из“ — связка дополнения.

2) „Которые случаются только тогда“. Знаменательные члены: „случаются“ — сказуемое; „которые“ — подлежащее (согласовано в качестве союзного слова в числе и роде с членом главного предложения „дней“); „тогда“ — обстоятельство, примыкающее к сл. „случаются“. Служебные члены: „только“ — усилительная частица к сл. „тогда“.

3) „Когда погода установилась надолго“. Знамен. члены: „установилась“ — сказ.; „погода“ — подлеж.; „надолго“ — обстоят., примыкающее к сл. „установилась“; „когда“ — обстоят., примыкающее к сл. „установилась“; служебных членов нет.

II. „С самого раннего утра небо ясно“ — отдельное независимое предложение. Знаменат. члены: „ясно“ — грамматическое сказуемостное определение с отрицательной связкой; „небо“ — подлеж.; „утра“ — дополн. в род. пад., примыкающее к сл. „ясно“ посредством связки „с“; „самого“, „раннего“ — определения, согласованные со сл. „утра“. Служебные члены: „с“ — связка дополнения.

III. „Утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем“ — сложное предложение, состоит из двух отдельных предложений, соединенных только интонацией и ритмом: 1) , утренняя заря не пылает пожаром“ и 2) „она разливается кротким румянцем“. Первое предлож — обще-отрицательное.

1) Знамен. члены: „пылает“ — сказ.; „заря“ — подлеж.; „утренняя“ — определ., согласов. со сл. „заря“; „пожаром“ — дополн. в творит. пад., прим. к сл. „пылает“. Служебн члены: „не“ — отрицательная частица к сл. „пылает“.

2) Опускаем разбор в виду сходства с предыдущим.

IV. „Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман“ — сложное предложение, состоит из пяти отдельных предложений, соединенных частью по способу подчинения, частью по

способу сочинения, частью бессоюзно: 1) „солнце — не огнистое, не раскаленное, ... не тускло-багровое, ... но светлое и приветно-лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой“, 2) „как во время знойной засухи“, 3) „как перед бурей“, 4) „свежо просияет“, 5) „и погрузится в лиловый её туман“. Первое — главное предложение; второе и третье — неполные придаточные предложения 1-ой степени, подчиненные посредством сравнительного союза „как“; четвертое — неполное предложение, заимствующее подлежащее из первого и соединенное с ним ритмом и интонацией; пятое — неполное предложение, заимствующее подлежащее из первого и сочиненное с предыдущим посредством соединительного союза „и“. Первое по составу — слитное, частно-отрицательное.

1) „Солнце — не огнистое, не раскаленное, ... не тускло-багровое, но светлое и приветно-лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой“. Знамен. члены: „всплывает“ — сказ.; „солнце“ — подлеж.; „огнистое“, „раскаленное“, „тускло-багровое“, „светлое“, „приветно-лучезарное“ — определения, согласованные со сл. „солнце“ и все вместе обособленные от него; „мирно“ — обстоят., прим. к сл. „всплывает“; „тучкой“ — дополн. в творит. пад. прим. к сл. „всплывает“ посредством связки „под“; „узкой“, „длинной“ — определения, согласованн. со сл. „тучкой“. Служебн. члены: „не“ (трижды) — отриц. частица при определениях. „огнистое“, „раскаленное“, „тускло-багровое“; „но“ — противительная связка однородных членов, соединяет две внутренно-цельные группы определений; „и“ (дважды) — связка однородных членов, соединяет в обоих случаях однородные определения.

2) „Как во время знойной засухи“. Знамен. члены: „время“ — дополн. в винит. пад., прим. посредством связки „во“ к заимствуемым из соседнего предложения определениям: „огнистое“ и „раскаленное“; „засухи“ — дополн. в род. пад., управл. сл. „время“; „знойной“ — определ., согл. со сл. „засухи“. Служебн. члены: „во“ — связка дополн.; „как“ — связка предложений.

3) „Как перед бурей“. Знамен. члены: „бурей“ — дополн в творит. пад., прим. посредством связки „перед“ к заимствуе-

мому из соседн. предл. определению „тускло-багровое“ (сравн. предыд. предлож.). Служебн. члены: „перед“ — связка дополн; „как“ — связка предлож.

4) „Свежо просияет“. Знамен. члены: „просияет“ — сказ.; „свежо“ — обстоят. к нему. Служебн. членов нет.

5) „И погрузится в лиловый её туман“. Знамен. члены: „погрузится“ — сказ.; „туман“ — дополн. в вин. пад., управл. сл. „погрузится“ посредством связки „в“; „лиловый“ — определ., согл. со сл. „туман“; „её“ — дополн. в род. пад., управл. сл. „туман“. Служебн. члены: „в“ — связка дополн.; „и“ — связка предлож.

V. „Верхний тонкий край растянутого облачка засверкает змейками“ — отдельное независимое предложение*), по составу слитное. Разбор по чл. предл. опускаем, так как он не дал бы ничего нового.

VI. „Блеск их подобен блеску кованого серебра“ — отдельное независимое предложение. Разбор опускаем по тем же соображениям.

VII. „Но вот, опять хлынули играющие лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило“ — сложное предложение, состоит из двух отдельных предложений, соединенных по способу сочинения: 1) „но вот, опять хлынули играющие лучи“ и 2) „и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило“. Первое сочинено, кроме того, с предыдущим противительным союзом „но“, не сливаясь с ним в сложное. Второе по составу — слитное.

1) „Но вот, опять хлынули играющие лучи“. Знамен. члены: „хлынули“ — сказ.; „лучи“ — подлеж.; „играющие“ — определ., соглас. со сл. „лучи“; „опять“ — обст., прим. к сл. „хлынули“. Служебн. члены: „но“ — связка предложений. Слова, стоящие вне предложений: „вот“ — вводное слово (при другом

---

*) Предполагаем чтение с соблюдением точки с запятой, т.-е. с небольшим понижением голоса. Но вполне возможно (и даже больше гармонирует с последующим) иное чтение, с большим повышением к концу предложения и со вставочным произношением следующего предложения, как если бы оно было в скобках. В этом случае V и VI составят, очевидно, одно незаконченное сложное предложение.

чтении, без запятой, могло бы быть определено и как усилительная частица к сл. „опять“).

2) „И весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило“. Знамен. члены: „поднимается“ — сказ., „светило“ — подлеж., „могучее“ — определ., согл. со сл. „светило“; „весело“, „величаво“, „взлетая“ — обстоятельства, прим. к сл. „поднимается“ (последнее из них обособлено и осложнено подчинительным союзом). Служебн. члены: „и“ (первое) — связка предложений; „и“ (второе) — связка однородных членов; „словно“ — связка предложений, присоединяющая здесь не отдельное предложение, а обособленный член*).

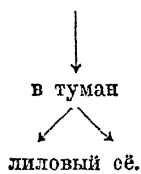
Разбор этот мог бы быть дополнен еще только значением падежей дополнений и связок их, т.-е., напр., дополнение „из дней“ в 1-м предложении („один из тех дней“) могло бы быть разобрано, как „родительный разделительный“, дополнение „с утра“ („с самого раннего утра“), — как „родительный отделения + временная связка“, дополнение „пожаром“, как „творительный орудия“ или „уподобления“ (промежуточный случай), и т. д. (эти значения мы выпустим потому, что соответствующие отделы в „Русском синтаксисе“ остались неразработанными. В некоторых отдельных случаях такое усложнение разбора, может быть, и нужно (напр., для выяснения значения возвратной формы глагола в „заря разливается румянцем“ и „вода разливается дворником“). Но, в общем, мы считаем, что на практике, в младших классах, наш разбор должен быть не дополнен, а сокращен и упрощен, и в этом направлении мы должны прибавить к нему несколько замечаний. Прежде всего, наиболее практично было бы выкинуть деление дополнений на управляемые и примыкающие. По личному опыту мы можем засвидетельствовать, что это наименее доступные ученику рубрики и наименее пригодные для школы, вследствие отсутствия резких границ между ними. Поэтому

*) К такому разбору побуждает нас параллелизм *интонации* „взлетая“ с интонацией „весело“ и „величаво“; но само собой разумеется, что можно, отвергнув вообще категорию „обособленных членов с подчинительными союзами“, видеть и здесь неполное придаточное предложение, как выше в сочетаниях: „как во время знойной засухи“ и „как перед бурей“.

термин „управление“ лучше всего было бы применять только в его широком (к тому же и более обычном) значении, понимая под ним всякую зависимость всякого несогласованного косвенного падежа. Все дополнения будут, таким образом, для ученика „управляемыми“. Далее, можно было бы не различать отдельных категорий союзов, а определять только сочинение, подчинение и бессоюзие. Среди второстепенных членов можно было бы не различать сказуемостных, а в случае отделения грамматики от пунктуации, и обособленных. Вообще нужно помнить, что сокращение и тут, как и во всех других учебных предметах, само по себе еще не есть искажение. Нужно только, чтобы, как везде, опускалось более частное, а оставалось более общее. Если мы, напр., разберем „читающий“, как прилагательное, то это будет грамматически верно, потому что оно действительно есть прежде всего прилагательное, а затем уже причастие. Если мы в сочетании: „она была странная“ разберем „странная“ просто, как определение к слову „она“, это опять-таки будет верно, потому что это действительно определение, отличающееся только некоторыми синтаксическими особенностями. А вот если мы „в городе“ или „здесь“ разберем, как „обстоятельство места“, то это уже будет прямо неверно, потому что в первом случае мы упрощаем навыворот, опуская главное (что это существительное в предложном падеже со связкой) и отмечая второстепенное (оттенок места в значении падежа), а во втором даже и не упрощаем, а искусственно усложняем дело, отмечая оттенок, в языке не выраженный. Точно так же и самую форму разбора можно, разумеется, упрощать всевозможными способами, не нанося ущерба его научности. В частности чрезвычайно важно избрать посильный для ученика способ определять зависимость между членами. Непосредственный опыт показал нам, что для ученика далеко не одно и то же: переходить посредством вопросов от одного члена к другому, указывая самым порядком своего разбора зависимость членов друг от друга, или формулировать эту зависимость саму по себе, как это сделано в нашем разборе. Сплошь и рядом ученик, ведя разбор при помощи вопросов в должном порядке, потом не знает, что от чего

зависит. Дело в том, что формулировка зависимости требует более отчетливого мысленного расчленения речи и сохранения в памяти отдельных слов, как речевых единиц. Употребляя в нашей практике метод вопросов с последующей формулировкой зависимости, мы частенько наталкивались на такой случай: ученик правильно прикрепляет, куда нужно, вопрос и тут же путает зависимость, разбирая, напр., так: „погрузится в лиловый её туман"; „погрузится" во что? (или куда, для нас это было безразлично) — „в туман" — дополнение в винит. пад., управляется словом „погрузится"; „в туман" чей? — „её" — дополнение в родит. пад., управляется словом „погрузится". Как ни странен для взрослого образованного человека такой случай, для детской психологии он нормален: ученик, поставивши вопрос, сейчас же забывает, к какому он его слову приставлял, потому что ему вообще трудно держать в памяти отдельные слова; мысленно расчленять речь. Интересно отметить, что в тех случаях, когда ученик разбирал у нас только зависимость членов, нанося ее тут же в виде схематического рисунка и не определяя самых членов*), таких ошибок не было. Ясно, что та умственная операция, которой мы требовали от него при полном разборе, ему не по силам: то усилие мысли, которое он производил определяя, какой член перед ним, изгоняло из его памяти то слово, к которому он приставлял перед этим вопрос. И хотя из этого вытекает, что определение зависимости при помощи одних только вопросов представляет низшую ступень грамматического истолкования фразы и навыка ученика, однако на практике могут найтись условия, при которых именно этой низшей ступенью и следует удовлетвориться. И мы вообще

*) Напр., для сочетания: „погрузится в лиловый её туман":



отнюдь не хотим предрешать вопроса, где и когда возможна та сложная форма упражнения, которую мы привели выше, и даже возможна ли она где-либо и когда-либо в школе.

Раз коснувшись метода вопросов при разборе, мы должны остановиться на этом пункте подробнее. Метод вопросов, сыгравший очень печальную роль в истории теоретической разработки синтаксиса (см. выше), оказался не менее роковым и в школе, где он, собственно, при умелом применении мог бы быть небесполезен. К несчастью, из учебного средства, из своего рода „наглядного пособия" он превратился там именно в метод отыскания синтаксической истины. В результате самое понимание преподаваемого предмета и задач его исчезло не только у учеников, но и у учащих. В этом отношении вопросы принесли неисчислимый вред. В настоящее время на каждом шагу можно встретить учителя (по крайней мере, народного), аргументирующего свой разбор вопросами, как чем-то реальным, и глубоко убежденного, что подлежащее „есть слово, отвечающее на вопрос „кто? что?", сказуемое — „слово, отвечающее ..." и т. д. С научной точки зрения это равносильно утверждению, что сложение есть действие, при помощи которого счетные шарики придвигаются друг к другу, а вычитание — при котором они отодвигаются друг от друга. Но в то время, как в арифметике невозможно найти не только учителя, но, пожалуй, и ученика, стоящего на столь низкой ступени математического развития, в грамматике все учителя, за ничтожными исключениями, стоят именно на этой первобытной ступени грамматического развития. Вот почему нам и представлялось необходимым, признавая за методом вопросов известное практическое значение, в то же время самым решительным образом подчеркнуть здесь, что это — метод обучения, а не изучения, что к самой науке о языке он имеет так же мало отношения, как и счетные шарики к математике. В частности, и в области обучения значение его, несомненно, сильно преувеличивается. Так, при различении частей речи, т.-е. на самой ранней стадии обучения, когда вспомогательные приемы наиболее нужны, он совершенно неприменим. Если мы определим ребенку, напр., прилагательное, как слово, отве-

чающее на вопрос „какой?“, или наречие, как слово, отвечающее на вопрос „как?“, то он в праве будет в сочетании: „день рождения“ счесть „рождения“ прилагательным (какой день?), а в сочетании: „писал с ошибками“ счесть „с ошибками“ наречием (как писал?). Ведь логическое соответствие ответа вопросу еще не гарантирует грамматического соответствия. На один и тот же вопрос можно всегда получить целый ряд грамматически разнородных ответов (как писал? — с ошибками, ошибаясь, небезошибочно, как ученик, как писал бы ученик, по-ученически и т. д.). Если же мы будем приучать ребенка ставить особые грамматические вопросы, т.-е., напр., в сочетании: „день рождения“ спрашивать: „день чего?“ или в: „писал с ошибками“ — „писал с чем?“, то, не говоря уже о мертвенности подобных вопросов, мы, очевидно, заставим его, прежде чем задать вопрос, решить, для какой части речи он задается, т.-е. сделаем самый вопрос уже ненужным. Точно так же и в тех случаях, когда разные части речи случайно совпадают по окончаниям („урожай“ и „собирай“, „урожая“ и „собирая“, „урожаю“ и „собираю“, „урожаем“ и „собираем“), вопросы бессильны: для того, чтобы верно задать вопрос, ребенок уже заранее должен схватить часть речи. К тому же, к некоторым частям речи нельзя приспособить никаких вопросов. Так, если действительные и возвратные причастия и деепричастия еще и можно кое-как определить вопросами: „что делающий?“ и „что делая?“, то как определить страдательные причастия и деепричастия? Ни „что делаемый?“, ни „кем делаемый?“ здесь не подходят. Несколько лучше дело обстоит при более специальных различениях, именно при различении сходных по окончанию падежей. Так, для существительных при помощи вопросов можно выработать общую таблицу склонений, т.-е. сгруппировать все формы в равнозначные ряды, „стола — воды — кости — времени“, „столу — воде — кости — времени“ и т. д. (предполагаем наиболее целесообразный метод обучения, когда ученик сам составляет все таблицы склонений и спряжений, извлекая их из текста). С их же помощью можно и при разборе отличать сходные по звукам, но разные по значениям падежные формы („шел к воде“ и „был в воде“ — „к

чему?“ и „в чем?“). Но нужно заметить, что и здесь с методом вопросов соперничает и едва ли не побеждает его вполне доступный для школы метод подстановки. В самом деле, не одинаково ли ясны будут ученику падежи нашего примера и в том случае, если он, не прибегая к вопросам, подставит вместо „воды“ „озеро“: „шел к озеру“, „был в озере“*)? Разница только в том, что метод подстановки: 1) естественнее, потому что проводит в сознание ученика те самые ассоциации, благодаря которым он бессознательно различает сходные падежи в процессе речи, 2) интереснее для ученика, потому что может быть связан с отысканием подходящих примеров для подстановки, т.-е. с словарной, стилистической и смысловой стороной речи (бессмысленных подстановок, разумеется, лучше не допускать), 3) полезнее для общего языкового развития ученика по тем же причинам, 4) полезнее и для специального грамматического развития ученика, так как попутно напоминает ему различные усвоенные ранее формы, тогда как вопросы держат его внимание в течение 4-х лет обучения всё на одних и тех же формах слов „кто“ и „что“ (к тому же нехарактерных, неправильных). Возможно, что некоторые будут настаивать на том, что вопросы легче, чем подстановка. Но если это даже и так (а это еще нужно доказать), то ведь легкость может быть решающим моментом лишь в методике таких предметов, которые не имеют никакой самостоятельной ценности, которые играют исключительно служебную роль (напр., в методике чтения и письма). Если же признавать за грамматическими занятиями хотя какое-нибудь общеобразовательное значение помимо орфографического (а в таком значении, хотя бы только попутном и случайном для целей преподавания, им, думается, никто не откажет), то мотив легкости непременно должен быть сопоставлен со всеми другими особенностями метода. Несомненно, что вопросы отвлекают от того, чему хотят на-

*) Противопоставляем здесь оба метода только в техническом смысле. По существу, метод вопросов, если он применяется строго грамматически (как в данном случае), есть не что иное, как частный случай метода подстановки, при котором всегда подставляются одни и те же слова: „кто“ и „что“.

учить, —от форм, и в этом их огромный минус. Минус этот сказывается даже и на той самой орфографии, ради которой вводятся всякие анти-научные облегчения, в том числе и вопросы. Нам приходилось наблюдать, как ученик, прошедший суровую грамматическую школу старой орфографии, писал: „шел к реке" и мотивировал это начертание тем, что „на вопрос „куда?" пишется е, а на вопрос „где?" — ѣ". Очевидно, если бы не было вопросов, такой путаницы не возникло бы. Или, напр., очень распространенное в начале обучения орфографическое смешение родительного и дательного в женском склонении („там стояла изба старухе", „я подошел к старухи") в значительной мере поддерживается тем, что родительный падеж тщательно укрывается от ученика вопросом „чей?" (чья изба?) и потому гораздо медленнее усваивается, чем это было бы без вопросов. Вообще, при методе подстановки, падежи усваивались бы крепче и сознательнее (зазубривание окончаний, разумеется, недопустимо), а без хорошего различения падежей невозможна (по крайней мере, при грамматическом методе) и орфография. Может быть, нам скажут еще, что вопросы помогают ребенку просклонять слово. Но мы спросим: зачем склонять? Если склонением ребенок подводит итог своим грамматическим наблюдениям, то оно полезно, как всякий итог, но, разумеется, вопросы ему тогда уже не нужны. Если же оно дается с самого начала чисто-догматически, то действительно, без вопросов тут не просклонять, но самое склонение в этом случае бессмысленно и вредно. Интересно проследить также роль вопросов в различении винительного падежа, этого главного камня преткновения школьников. Большинство учителей уверено, что эта трудность может быть осилена только с помощью традиционного, совершенно мертвого и бессмысленного вопроса „кого-что?" Нам думается, что заслуги и этого вопроса сильно преувеличены. Прежде всего, сам вопрос этот, как искусственный, в жизни не употребляющийся, требует специальной муштровки, специального навыка ученика. Значит, здесь то, что вводится для облегчения, само по себе трудно. Затем, чрезвычайно важно, что очень многие собственно-переходные глаголы (т.-е. глаголы, управляющие винительным падежом

без предлога) сочетаются в русском языке и с родительным падежом („дал хлеб“ и „дал хлеба“*), „добыл ру́жья“ и „ружей“, „купил платки“ и „платков“ и т. д., сравн. „Русск. синт.“, стр. 159). Поэтому ученику при таких глаголах представляется одинаково возможным спросить и „кого-что?“ и „кого-чего?“. В сочет., напр., „купил лошадь“ ученик, не одолевший еще винительного падежа, сплошь и рядом спрашивает: „купил кого-чего?“ (говорим на основании собственного опыта). Значит, и здесь не вопрос помогает узнать падеж, а наоборот, надо знать падеж, чтобы задать вопрос (обычно вопрос подсказывается на первых порах учителем). Во множественном числе того же примера („купил лошадей“) вопросы уже просто собьют с толку ученика (а может быть, и учителя). Ему будет казаться, что надо непременно спросить или „кого-что?“ или „кого-чего?“, на самом же деле здесь как раз можно задать и тот, и другой вопрос, смотря по тому, имеются ли в виду определенные лошади и определенное число их, или неопределенное, в зависимости от чего и падеж будет то винительный, то родительный. Так же бессильны вопросы и во всех тех случаях, когда глагол раньше сочетался с родительным, а теперь перешел или начинает переходить (иногда еще только в просторечии) к винительному (ищу, прошу, требую, хочу, желаю, жду, домогаюсь, добиваюсь, боюсь, избегаю и т д.). Чтобы ученик в сочет.: „боюсь отца“ задал вопрос „кого-чего?“, а не „кого-что?“, надо, чтобы он уже заранее знал, что „боюсь“ требует родительного падежа, что „боюсь тетку“, „боюсь мать“ будет нелитературно. Опять-таки, значит, вопрос запаздывает со своими услугами и приходит тогда, когда он уже не нужен. И вообще, слова „кто“ и „что“ в сущности не годятся для различения винительного падежа, потому что оба как раз не имеют его („кто“ имеет только родительный, а „что“ только именительный). При методе же подстановки любого слова мы имеем возможность

*) Правда, один студент 4-го курса словесного отдел. историко-филологич. факультета, окончивший потом с дипл. 1-ой степ., уверял нас, что „хлеба“ здесь винительный падеж, потому что „даю кого-что?“, а не „кого-чего?“. Но вряд ли этот факт может послужить на пользу защитникам вопросов.

пользоваться здесь словами типа: „вода“, „земля“, имеющими настоящий винительный падеж и, следовательно, гораздо прямее и скорее ведущими к цели. Если бы практика показала, что для ускорения обучения необходимо иметь под рукой всегда одно и то же слово для подстановки (чего мы не думаем), то и здесь можно было бы в конце концов так же условно остановиться на каком-нибудь одном слове, как условно остановились на „кто“ и „что“; конечно, эта условность влекла бы за собой часто бессмыслицу, но ведь мирится же школа с бессмыслицей вопросов: „пишу кого, что?“, „читаю кого, что?“, „говорю кого, что?“, а с другой стороны: „спрашиваю кого, что?“, „огорчаю кого, что?“, „сержу кого, что?“, и т. д. Разница только в том, что при методе, предлагаемом нами, таких условных „подстановочных“ слов было бы больше (для каждой сомнительной формы свое слово), и поэтому они лучше приспособлены были бы каждое к своей роли, чем универсальные „кто“ и „что“. При различении сходных падежей прилагательных вопросы уже совершенно не нужны, потому что все прилагательные склоняются одинаково, и формы, сходные для „добрый“ (напр., „доброй“ — и родит., и дат., и твор., и предложн. ед. ч. женск. р.) будут сходны и для „какой“. Значение формы прилагательного ведь всецело определяется формой того существительного, с которым оно согласуется, и никакая подстановка, в том числе и вопросительная, здесь ничего не дает. Если здесь и применяются на первых порах с несомненной пользой вопросы для орфографического различения падежей (добрым“ и „о добром“ — „каким?“ и „о каком?“, „добрую“ и „доброю“ — „какую?“ и „какою?“), то слова эти полезны здесь не как вопросы, а как слова с ударением на конце, и вместо „какой“ можно с равным успехом подставлять здесь и „такой“, и „любой“, и „большой“, и т. д. Здесь мы имеем не метод вопросов, а метод подстановки сло́ва с ударяемым гласным на месте орфографически сомнительного безударного гласного, метод весьма почтенный и с вопросами ничего общего не имеющий. При различении форм спряжений вопросы и сейчас не применяются, как совершенно непригодные для этого. Общий вывод в области различения совпадающих по звукам форм

получается, следовательно, для вопросов отрицательный. Они более вредны, чем полезны, а в том, в чем они полезны, подстановка полезнее их. И если мы из предосторожности и не решаемся высказываться о народной школе, которой практически не знаем, то относительно средней школы мы горячо ратуем за полное изгнание вопросов из морфологии. Не то в синтаксисе. Здесь определение зависимости между членами как будто бы действительно сильно облегчается и притом не искажается вопросами. Самые вопросы при этом, конечно, не важны, — любой член предложения может отвечать на любой вопрос, — а важен только порядок вопросов, определяющий степень зависимости члена. Правда, и здесь метод вопросов не единственный. И здесь он мог бы быть заменен другим методом, который мы называем „методом комбинаций" и который заключается в следующем. Разбирая, положим: „погрузится в лиловый её туман", ученик комбинирует: „погрузится в лиловый", „погрузится в её" и „погрузится в туман" и выводит отсюда, что „в туман" относится к „погрузится"; комбинируя: „её лиловый", „её погрузится" и „её туман", узнает, что „её" относится к „туман", и т. д. Метод этот опять-таки гораздо ближе к сути дела, чем метод вопросов. Но он настолько труднее, что сделать выбор между тем и другим мы не решаемся. Возможно, что в разных случаях разбора (не говоря уже о разных школах и классах) можно применять то тот, то другой метод. В некоторых случаях, повидимому, без вопросов не обойтись. Так, в сочет.: „не выношу пустоты жизни" комбинирование дает два одинаково возможных сочетания („не выношу пустоты" и „не выношу жизни"), и ученика, не понимающего, какое сочетание для данного текста синтаксически цельно, мы все-таки в конце концов спросим: „да чего же он не выносит: пустоты или жизни?", т.-е. всё-таки прибегнем к вопросу. Еще нужнее становятся вопросы при определении зависимости между предложениями. Здесь метод комбинаций уже совершенно неприменим, потому что целые предложения слишком громоздки, чтобы ими при разборе жонглировать. Само собой разумеется, что выбор вопросов и тут безразличен, а важна только их последовательность. Кроме

того, на высшей ступени обучения не худо бы и тут хоть раз-другой проверить вопросы комбинационным методом, чтобы показать ученику языковую сторону дела и раскрыть перед ним условность вопросов.

III.

Знаки препинания и научная грамматика.

В нижеследующих таблицах мы обходим основные „проклятые" вопросы методики грамматики и правописания, как-то: необходима ли грамматика при обучении правописанию (в частности, синтаксис при обучении пунктуации), или нет, должна ли она преподаваться в связи с правописанием, или как самостоятельный предмет, или не должна преподаваться вовсе; если должна, то в средней школе или низшей, в младших классах или в старших и т. д. Мы хотим только, исходя из данного положения вещей, при котором грамматика признается насущно необходимой при самом начальном обучении, как „служанка правописания", и предполагая, что основные положения нашего „Русского синтаксиса" могут в отдельных случаях тем или иным путем, при помощи посредствующих учебников или устных раз'яснений учителя, дойти до школьника, выяснить, как сложились бы правила о знаках препинания на почве наших грамматических принципов. К сожалению, общепризнанной пунктуации у нас еще нет. Соответствующий отдел в „Русском правописании" Грота, единственного общепризнанного орфографического авторитета нашего, так неполон, так неточен и так расходится в иных случаях с общеустановившеюся за последнее время практикой, что исходить из него одного нет возможности. Современные школьные грамматики, больше всего на свете стремящиеся быть верными Гроту, в этом отделе по необходимости изменяют и дополняют его каждая по-своему. Нижеследующее основано частью на Гроте, частью на некоторых наиболее распространенных школьных учебниках, частью (минимально) на собственных наблюдениях и пожеланиях.

1. Знаки препинания в отдельном предложении.

1) Однородные члены слитного предложения отделяются друг от друга запятой; если они соединены союзом, то запятая ставится перед ним*).

Исключ. — a) Перед неповторяющимися в данной группе однородных членов союзами **и, да****), **или** запятой не ставится; при повторяющихся только один раз союзах **и** и **ни** запятая то ставится, то не ставится (употребление колеблется).

b) Однородные члены, не соединенные союзами и распространенные другими зависящими от них членами настолько, что внутри однородных групп имеются свои ритмические раздельные пункты, а паузы между отдельными группами приобретают в связи с этим характер физиологически-необходимых моментов передышки, — отделяются друг от друга точкой с запятой („*за ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш*“ ... Гог.). Впрочем, в огромном большинстве случаев группы эти могут быть приняты и за отдельные неполные предложения, и тогда случай этот подойдет под исключение 3 табл. II.

2) Обособленные члены и группы отделяются от других членов того же предложения запятыми; если при таком члене есть союз (из подчинительных — сравнительные и пояснительные, из сочинительных — „или“, см. „Русск. синт.“ стр. 420), то запятая ставится перед союзом.

---

*) Так как изложение рассчитано на специалистов-учителей, то примеры приводятся лишь в необходимейших случаях.

**) „Да“ с противительным оттенком, по нашему определению, в слитных предложениях не употребляется: в таких случаях, как: „мал золотник, да дорог“ или „велика Федора, да дура“, мы видим 2 предложения (полное и неполное).

Прим. 1. Обособленный член (или группа), стоя в самом начале предложения, тотчас после союза, соединяющего всё данное предложение с предыдущим, отделяется от этого союза запятой, хотя обособляется в произношении вместе с союзом („*он подошел и, беря меня за руку, сказал*“ ... „*я знаю, что, сделав это, вы раскаетесь*“).

Прим. 2. Подлежащее от сказуемого или сказуемостного сочетания, сказуемостный член от связки и управляемое дополнение от управляющего им слова никогда запятой не отделяются, как бы они ни произносились.

3) Вводные слова и сочетания, независимо от их произношения, ставятся почти всегда в запятых.

4) Обращение (с подчиненными ему членами), стоя в середине предложения, ставится в запятых; стоя в начале предложения, отделяется или запятой, или восклицательным знаком (с последующей малой буквой), в зависимости от силы ударения на нем и длительности последующей паузы; стоя в конце предложения, отделяется от предыдущего запятой; если слова, составляющие всю звательную группу, разделены друг от друга другими членами предложения, то каждая изолированная часть группы ставится в запятых („*отколе, умная, бредешь ты, голова*?“ *Крыл.*).

5) Междометие, стоящее в середине предложения, отделяется от предыдущего запятой, а от последующего запятой или восклицательным знаком (с последующей малой буквой), в зависимости от силы ударения и длительности последующей паузы („*а ныне, ах, её зовут уж на бостон!*“, „*да, чу! и ворон прокричал*“ ... Крыл.); междометие, стоящее в начале предложения, — запятой или восклицательным знаком, в зависимости от тех же причин.

Исключ. — Междометие, стоящее в начале предложения, лишается иногда всякого ударения, всецело примыкая ритмически к последующему слову („*о ты, чьей памятью кровавой...*“, „*о страшное, невиданное горе!*“ Пушк.; „*ну то-то-ж, говорит им слон: смотрите!...*“ Крыл.), или, наоборот, несет на себе главное ударение, притягивая к себе всецело ближайшее слово, делающееся от этого безударным („*ах ты, бедность горемыч-*

нал...“ Никит.; *„эй вы, павы, павы, павы! шевелись живей!*“ Некр.); в обоих случаях запятой лучше не ставить.

6) Встречающиеся внутри отдельного предложения паузы*), если они не совпадают с пунктами, отмечаемыми, согласно предыдущему, запятой, можно разделить на следующие разряды: а) паузы отвлеченно-логические, производимые с целью расчленить мысль на понятия, пользуясь разделением речи на слова (раздельное втолковывание кому-либо чего-либо, лекция, проповедь); сюда же можно отнести и паузы, искусственно производимые для расчленения речи (напр., у актера, боящегося, что при плавном произношении фраза выйдет слишком длинна и книжна); b) паузы, связанные с данной языковой формой мысли, как синтаксической, так и ритми-

*) Употребляем здесь, как и везде, этот термин в строго физиологическо-акустическом смысле, понимая под ним полную приостановку работы органов речи и полное прекращение звуковых колебаний, хотя бы на ничтожный промежуток времени. В просторечии в школьных учебниках и в декламационной литературе под паузами нередко понимают те ритмические разделы, которые получаются между двумя сильнейшими ударениями и обусловливаются минимальным выдыханием и минимальной силой звуков. В сочет., напр., „я работаю, а ты ничего не делаешь“, произносимом с усиленным противопоставлением и с усиленными ударениями на „я“ и на „ты“, многие готовы были бы уловить паузы между „я“ и „работаю“, „ты“ и „ничего“. На самом деле, точные наблюдения показывают, что течение речи здесь ни на миг не прерывается. Наблюдая над движениями своих органов речи, читатель заметит, что, как бы он ни ударял на „я“, как бы ни старался выделить его, кончик его языка непременно заблаговременно приподымается еще до окончания звука **я** (вернее **а**), чтобы в должное мгновение начать производить звук **р**, так что голос переходит со звука **а** на **р**, как при пении legato, без малейшего перерыва (сравн.: „**Яра** хор мне нравится, а Стрельны нет“, где произношение то же). Точно так же в словах: „а ты ничего не делаешь“, как бы мы ни ударяли на „ты“, мы всё-таки произносим слитно: „тыши“ или „тыничи“ (чем сильнее читатель будет ударять, тем яснее услышит это, если только не захочет искусственно прервать голос). Спрашивается, чем же об'ясняется впечатление пауз? Тем, что здесь находятся слабейшие в выдыхательном и акустическом отношении места, которые сами по себе никакого отношения к делению речи на слова не имеют и могут приходиться и по середине слов (напр., между „ра“ и „ботаю“, между „ни“ и „чего“), но которые мы, по нашей привычке расчленять мысленно речь на слова, всегда локализуем на ближайших словесных границах. Так вот от таких-то „пауз“, называющихся в физиологии звуков речи границами между речевыми „тактами“, и надо отличать те настоящие паузы, о которых мы говорим здесь и в дальнейшем.

ческо-мелодической (опущение, слабая синтаксическая связь, резкая и внезапная перемена тона, резкое последующее ударение и т. д.), а отчасти и с эмоциональной стороной её (желание удивить, поразить последующим, сильнее запечатлеть его); c) паузы чисто-эмоциональные, связанные с испытываемыми человеком в момент речи чувствами, волнением, стеснением и т. д.; d) паузы случайные, возникающие вследствие внезапного, непредвиденного перерыва речи. Первого рода паузы ничем не отмечаются на письме, второго рода — отмечаются чертой, о которой мы еще будем говорить ниже, третьего и четвертого рода — многоточием („*Братцы... отпустите меня... за что вы меня тащите... это вон он с своим братом ... мужик тот ... седой-то ... обобрали купца* ... Григ.; последнее предложение эмоциональными паузами разбито на 4 части. Хорошие примеры на случайные паузы внутри предложения дает разговор городничего, Анны Андреевны и Марьи Антоновны с Осипом в „Ревизоре", действ. 3-е, явл. 10-е, где действующие лица всё время перебивают друг друга, см. „Практический курс синтаксиса русского языка" Д. Н. Овсянико-Куликовского и П. Н. Сакулина, стр. 261).

Примеч. — Рядом со всеми перечисленными знаками отделения существует внутри предложения и особый знак слияния, не подходящий, собственно, под понятие „знака препинания". Это — черточка в таких случаях, как: „поэт-художник", „механик-самоучка", „тянут-потянут", „ходил-ходил", „раза два-три", раз-другой" и т. д. Во всех этих случаях знак этот означает особую ритмическую цельность соединяемых элементов.

II. Знаки препинания в сложном предложении.

Общее правило. Отдельные предложения, составляющие одно сложное предложение, отделяются друг от друга запятой; если одно предложение попадает в середину другого, то оно с обеих сторон выделяется запятыми.

Исключения: 1) Неполное бесподлежащное предложение,

заимствующее подлежащее из предыдущего предложения или не нуждающееся в подлежащем вследствие формы лица сказуемого (см. „Русск. синт.“, стр. 336) и соединенное с предыдущим предложением неповторяющимся в данной группе предложений союзом и при соответствующей союзу однотонной ‚перечисляющей“ интонации, не отделяется от предыдущего никаким знаком препинания (*„он посмотрел на меня, подумал и сказал“*, *„прийди и возьми!“*; но если интонация в противоречии с союзом резко подчинительная (повышение голоса для выражения причинной, временно́й и т. д. связи), то запятая, по общему правилу, ставится (*„не знаю скуки с зевотой, и благодарю Бога“*. Вяз.). Если заимствование происходит из последующего предложения, то запятая при тех же условиях может отсутствовать и перед или (*„глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина . . .“* Гог.).

2) Те же бесподлежащные предложения, если они не соединены союзами, произносятся с перечисляющей интонацией и при этом настолько распространены, что внутри всех или некоторых из них имеются свои ритмические раздельные пункты, а паузы между отдельными предложениями приобретают в связи с этим характер физиологически необходимых моментов передышки, — отделяются друг от друга точкой с запятой (*„осаждающие слабели духом и телом, терпя ненастье, иногда голод; роптали; не смея винить короля, винили главного воеводу Замойского; говорили, что он . . .“* Карамз.).

3) При тех же условиях и все другие неполные предложения могут отделяться друг от друга точкой с запятой, особенно если в последующем подводится им итог или в предыдущем имеется указание на ожидаемое перечисление (*„опаленные сосны, исторгнутые из утробы земной с глубокими корнями; обожженные скалы; дым, восходящий густым, черным облаком от сего огнища: всё это образует картину столь дикую“* . . . Батюшк.; *„. . . вдруг так и запахнет деревнею: низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике; ужином, уже стоящим на столе; майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами; соловьем, кото-*

рый обдает сад, дом и дальнюю реку своими раскатами; страхом и шорохом ветвей . . .“ Гог.).

4) При тех же условиях и полные соподчиненные придаточные предложения могут отделяться друг от друга точкой с запятой („*темные предания гласят, что некогда Горохино было село богатое и обширное; что все жители оного были зажиточны; что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах . . .*“ Пушк.).

5) Полные независимые предложения, не соединенные союзом и произносящиеся с той же перечисляющей интонацией, тоже могут отделяться точкой с запятой („*уж небо осенью дышало, уж ре́же солнышко блистало, короче становился день; лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась; ложился на поля туман; гусей крикливых караван тянулся к югу . . .*“ Пушк.). С внутренней стороны предложения эти являются обычно частями одной общей картины (природы или душевной жизни, безразлично), почему автор и сливает их в одно целое, хотя это слияние и не так тесно, как при запятой. С внешней стороны они отличаются тем, что на границах их производятся ясно различимые небольшие паузы, тогда как при запятой между такими же предложениями пауз или совсем нет, или они еле уловимы; интонация же их совершенно та же, что и при запятой (рекомендуем вслушаться в чтение примера). Особенно распространена эта точка с запятой в тех случаях, когда в начале сложного предложения имеется вступительное предложение, предупреждающее, что далее последует цельная картина („*начали собираться к чаю: у кого лицо измято и глаза заплыли слезами; тот належал себе красное пятно на щеке и виске; третий говорит со сна не своим голосом . . .*“ Гонч.; о двоеточии см. след. пункт) и при повторении наречий с разделительным оттенком значения („*где на батарее сидит куча матросов; где посре́дине площади, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка; где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи . . .*“ Л. Толст.). Так как цельность картины здесь полная и несомненная, то точка с запятой об'ясняется здесь, как и в предыдущих пунктах,

только распространенностью предложений и присутствием внутри их своих, более мелких, разделительных моментов (сравн. запятую при тех же условиях: „*помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже ...*“ Гог.; „*кто молча отворачивался за недосугом, кто равнодушно отсылал его дальше ...*“ Григ.). В тех же случаях, где цельность картины ничем в языке не отмечена (сравн. первый пример), распространенность уже не играет заметной роли, а на первый план выдвигается внутреннее соотношение между мыслями и выражающее их произношение. Нужно еще заметить, что точка с запятой служит во многих случаях (даже гораздо чаще) и для отделения сложных предложений друг от друга (см. табл. III). Поэтому точного правила об употреблении точки с запятой, конечно, дать нельзя. Можно только сказать, становясь на об'ективную почву, что знак этот служит в настоящее время для двух ритмическо-мелодических типов границ между предложениями: 1) ровный или восходящий тон с последующей паузой (усиленная запятая) и 2) слегка нисходящий тон с паузой или без неё (неполная точка).

6) Существует в сложном предложении еще одна характерная интонация, которую можно кратко определить, как неспокойное понижение голоса. В то время, как понижение вообще имеет в языке заключительное значение (сравн. „Русск. синт.“, стр. 390), это понижение, напротив, ясно говорит слушателю, что дальше что-то ожидается, без чего речь будет неполной. Достигается это тем, что понижение соединяется здесь с особой ритмической формой предложения, которая заключается в следующем: 1) темп речи несколько ускоряется, 2) все ударения приобретают какой-то беспокойный, предупреждающий характер (говоря научно, такты речи из трохеических и дактилических делаются ямбическими и анапестическими), 3) на понижаемом слове (которое может стоять и не на границе предложений, а гораздо ранее) делается резкое и сильное ударение, резкость которого стоит в прямом отношении к степени понижения: чем ниже, тем резче, 4) после предложения обязательно выдерживается, каков бы ни был

темп речи, значительная пауза (пауза ожидания). Вот эта-то ритмическо-мелодическая фигура и отмечается на письме двоеточием. Мы здесь не имеем возможности, конечно, вдаваться в подробности ритма и мелодии речи. Но мы просим читателя проделать следующий опыт со всеми приведенными ниже примерами: сначала, прикрыв рукой двоеточие и всё, что за ним в примере следует, читать оставшееся предложение обычным повествовательным тоном, как если бы ожидалась точка и полный конец речи, а затем тут же читать всё сочетание с двоеточием:

Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Илькюша, Костя и Ваня (Тург.).

Они сдержали слово: в глубокую полночь зажгли костры свои (Карамз.).

Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя (Тург.).

По-немецки он знал лучше меня: ему пришлось толковать смысл некоторых стихов (Тург.).

Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже (Гог.).

„*Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника*“ (Гог.).

Зреет рожь — тебе заботушка:
Как бы градом не побилася...
Хлеб поспел — тебе кручинушка:
Убирать ты не управишься... (Никит.).

Думаем, что читатель, как бы плохо он ни читал, уловит при этом разницу между обоими понижениями и заметит, насколько характерны оба они. Что касается логических отношений между соединяемыми этим путем мыслями, то они подробно описаны у Грота, куда мы и отсылаем читателя. Может быть, они и могут иметь известное ориентирующее значение (особенно для начинающего), но в сущности они настолько разнообразны и разнородны (напр., перечисление и причинность), что не могут об'яснить употребления во всех этих случаях одного знака; декламационное же толкование и связанное с ним

психологическое (психология ожидания и предупреждения) вполне об'ясняют дело. Нужно еще добавить, что произношение это употребительно только при бессоюзии. Исключение составляют союзы: „как-то“ и „именно“ (также союзное вводное слово „например“), употребляющиеся перед перечислением, при чем именно на них-то и падает главное понижение и ударение, почему двоеточие и ставится после них, а перед ними запятая (*„он принял все меры, как-то: послал телеграмму, выехал навстречу . . .“*, *„я видел там кое-кого из наших, а именно: Петрова, Иванова . . .“*).

Двоеточие ставится также перед прямой речью и всеми разновидностями её, т.-е. дословно приводимыми мыслями, цитатами, заглавиями, названиями и т. д. По существу, двоеточие имеет здесь тот же смысл, что и в предыдущем пункте (сравн. чтение двоеточия в сочет.: *„швейцар поразил его словами: „не приказано принимать!“* Гог.; *„сам думает: „Молчи, уж я тебя, вострухy!“* Крыл.; *„вместо ответа она показала свое кольцо с надписью: „Ничто кроме смерти“* Карамз.). Но так как этого рода двоеточие в некоторых случаях не читается, а употребляется с чисто зрительными целями, то мы и выделяем его в особый пункт. Таких случаев два: 1) когда неполное предложение, дополняемое прямой речью („сказал“, „воскликнул“ и т. д.), стоит не перед ней и не после неё, а в середине её (*„сторона мне знакомая“, — отвечал дорожный: — „слава Богу, исхожена вдоль и поперек...“* Пушк.); здесь в настоящее время двоеточие и в практике и в учебниках борется с запятой; различение того и другой слегка намечено Гротом и довольно точно, обстоятельно и целесообразно проведено в школьном учебнике С. Бородина („Кратк. учебн.“ стр. 140—141, изд. 6-е), куда мы и отсылаем читателя (заметим только, что сложные логико-синтаксические построения автора ясно дают следующий простой ритмический результат: если неполное предложение произносится быстро и без паузы или с едва заметной паузой на конце, то ставится запятая, а если оно произносится медленнее и с ясной паузой на конце — двоеточие); 2) перед названиями книг, журналов, литературных и художественных произведений, учреждений, обществ,

частных владений, пароходов и т. д., если они образуют отдельное неполное предложение или, приближаясь к школьному языку, неграмматическое приложение („*мы говорили о романе Мережковского: „Воскресшие боги“; „я приехал на пароходе: „Великая княгиня Ольга*“). Впрочем, это последнее двоеточие, если оно не оправдывается произношением, всё больше и больше выходит из употребления. С другой стороны, на каждом шагу встречаются случаи, в которых двоеточие перед прямой речью не нужно („. . . *хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах. . ., что „город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом . . .“ и что при этом „было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности . . .*“ Гог.; „*вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите: „Не так“ или „не всегда так“, то я, пожалуй, и ободрюсь духом . . . Ибо не только чудак „не всегда“ частность и обособление, а напротив . . .*“ Дост.; „*вышли в свет „Записки об ушенье рыбы*“ . . . Акс.) и которые проще всего отличать от случаев с двоеточием на почве произношения. На той же почве следует в некоторых случаях отличать и самую прямую речь от заместительных слов и сочетаний (сравн. по произношению: „*далече грянуло „ура*“ и: „*далече грянуло: „ура!*“, „*авось*“ *да „живет*“ *до добра не доводят*“ и: „. . . *и не обскобливши, пустила на свет, сказавши: „живет!*“ Гог.).

8) Внутри прямой речи, которая, даже когда она занимает всю книгу, составляет вместе с начальным дополняемым ею неполным предложением своего рода „сложное предлежение“ (распадающееся, конечно, на ряд других сложных предложений), знаки препинания ставятся по общим правилам.

9) После заключительных кавычек прямой речи с предшествующим восклицательным знаком, вопросительным, вопросительно-восклицательным (?!) и многоточием никакого знака не ставится, хотя вышеуказанные знаки относятся только к прямой речи, а не ко всему предыдущему („*в первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: „какой приятный и добрый человек!*“ *В следующую затем*

минуту ...“ Гог., после „человек!“ сразу большая буква без знака).

10) Наоборот, если прямая речь требует после себя точки, то перед заключительными кавычками знака совсем не ставится, а ставится один знак после кавычек, именно тот, какого требует всё данное целое, или даже не ставится никакого знака, если оно его не требует (*Швейцар поразил его словами: „не приказали принимать*“. Гог.; *вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите не так или „не всегда так“, то я пожалуй ...* Дост.; в первом случае после кавычек точка, во 2-м случае никакого знака, в 3-м случае запятая, сама же прямая речь во всех трех случаях одинаково требует после себя своей отдельной точки, всюду выпускаемой). Оба последние правила представляют яркий (хотя и не замечаемый обычно) пример неграмматичности и нелогичности знаков препинания и в то же время полного их соответствия произносительным намерениям пишущего.

11) Два придаточные предложения, соподчиненные и в то же время сочиненные союзом „и“ (*„иногда, когда пламя горело слабее* и *кружок света сужывался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова ...*“ Тург.), то разделяются, то не разделяются запятой (употребление колеблется). По нашему мнению, нет никакой надобности создавать здесь исключение из общего правила об отделении отдельных предложений, составляющих одно сложное предложение, запятыми.

12) При столкновении двух союзов, происходящем от того, что одно предложение вставляется в другое тотчас после его союза (*„знаю, что, когда ты занят, тебя нельзя беспокоить*“; *„я зашел к нему, и, так как погода была хороша, мы отправились гулять*“), между союзами, вопреки произношению, ставится запятая (сравн. табл. 1, п. 2, примеч. 1).

13) Но если второй из союзов — двойной („если — то“, „если — так“, „так как — то“ и т. д.), то запятой не ставится (*„он смотрел редко, да метко, как говорят русские люди, и если замечал что дурное, то уже не спускал никому*“ Акс.).

14) При условиях, указанных в рубр. с., п. 6, табл. 1, между

отдельными предложениями сложного предложения возможно и многоточие.

15) Иногда вопросительная, восклицательная и повелительная интонации, соответственно с логико-психологическими взаимоотношениями предложений, комбинируются, в большей или меньшей степени, с сочинительной или подчинительной интонациями. В первом случае ряд таких предложений приобретает характер перечисления, выражаемого полным совпадением в ритме, тоне и тембре всего ряда („*зачем же здесь? и в этот час?*“ Гриб.; „*где цвел? когда? какой весной? и долго ль цвел? и сорван кем?*“ Пушк.; „*где мы? в какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова?*“ Гонч.; „*благодарю покорно: я скоро к ним вбежал! я помешал! я испугал!*“ Грибоед); во втором случае вопросительная интонация, сбиваясь на подчинительную, слегка понижается („*Готова записка! — сказал Собакевич, оборотившись. — Готова? Пожалуйте ее сюда!*“ „Готова“ произносится не чисто-вопросительно, а как бы комбинируясь с условной интонацией, т.-е. отчасти „если готова“), а восклицательная и повелительная приобретают чрезвычайно разнообразные и с трудом уловимые оттенки, указывающие на отношение к дальнейшему („*послушайте-с! извольте-ка проснуться . . .*“, „*скорее в обморок! — теперь оно в порядке . . .*“ Гриб.). Во всех этих случаях весь ряд таких предложений приходится признать одним сложным предложением. и, следовательно, внутри сложного предложения оказываются вопросительный и восклицательный знаки (большею частью с последующей малой буквой).

III. Знаки препинания между крупнейшими синтаксическими целыми (сложными предложениями и соотносительными с ними отдельными предложениями).

Примеч. — Предложениями, соотносительными со сложными предложениями, мы называем такие отдельные предложения, которые отделены и от предыдущей, и от последующей речи разделительными синтаксическими паузами (см. „Русск. синтакс.“, стр. 388—391).

1) Крупнейшие синтаксические целые отделяются друг от друга точкой или точкой с запятой; при этом точка обозначает полное отделение автором одной мысли от другой и соответственно с этим полное, постепенное и заблаговременное заключительное понижение голоса; точка же с запятой обозначает неполное отделение мыслей и соответственно с этим неполное и часто запоздалое понижение, проявляющееся иногда даже только на последнем слоге предложения. Сравн., напр., чтение точки с запятой в следующих примерах: 1) „*Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые вовсе и не стояли на дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично . . .*“ Л. Толст. 2) „*Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению . . .*“ Гог. 3) „*Но в жизни все меняется быстро и живо; и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке...*“ Гог. — В первом примере понижение хотя и может нарастать в течение всего последнего предложения („которые вовсе и не стояли на дороге“), но далеко не достигает той степени, как понижение после точки. Во втором примере понижение уже не только слабее, но и позже наступает (предположив точку, мы понизим на „молчаливого“, при точке же с запятой только на „разговорчивого“). Наконец, в третьем примере понижение может иной раз обнаружиться только на последнем слоге („жи-“ может быть еще высоко, а „-во“ уже низко, то же, впрочем, при ином чтении, и в первом примере). Но во всяком случае во всех 3-х примерах то чтение точки с запятой, которое указано в п. 5 табл. II, совершенно невозможно (рекомендуем прочитать под ряд оба ряда примеров и сравнить).

Примеч. — Нечто в роде знака препинания составляет так наз. красная строка. Значение её преимущественно логическое: она разделяет крупнейшие логические целые вне всякой связи с языковой формой их. К тому же она в живой речи, как ритмическо-мелодический тип, и невозможна, так как всецело связана с литературной работой. В чтении она отличается от точки обязательностью и особой продолжительностью паузы

2) Вопросительные крупнейшие синтаксические целые, т.-е. те сложные предложения, в которых главное предложение — вопросительное, а также отдельные вопросительные предложения, соотносительные с ними, отделяются от последующей речи вопросительным знаком.

Примеч. — Если в сложном предложении вопросительным является придаточное предложение, то получается так наз. „косвенный" вопрос, никаким знаком не отмечаемый. Но в некоторых случаях, когда вопросительная интонация решительно преобладает над подчинительной, т.-е. когда „косвенность" вопроса совершенно ничтожна (см. „Русск. синт.", стр. 424), возможен и здесь вопросительный знак („*мы думою, скажи, проникнуты ль одной, и видится ль тебе туманный образ брата, с улыбкой грустною склоненный надъ тобой?*" А. Толст.; „*скажи мне, ветка Палестины: где ты росла, где ты цвела?*" Лерм). В первом примере оба вопросительных придаточных предложения так распространены и так логически-важны, а главное („скажи") так коротко, так далеко от конца и носит, при данном словорасположении, такой вставочный характер, что декламационная победа придаточных, а с ней и вопросительный знак неизбежны. Другого рода второй пример: в нем возможно двоякое произношение, с вопросом и без вопроса, и в связи с этим двоякая пунктуация, двоеточие с вопросительным знаком в конце или запятая без вопросительного знака. При этом вопросительное произношение неразрывно связано с произношением предшествующего двоеточия, т.-е. с ритмическо-мелодической фигурой табл. II, п. 6, так что здесь получается особый сложный тип произношения и пунктуации (:+ ?).

3) Восклицательные и повелительные крупнейшие синтаксические целые (в том же смысле, как в предыд. п.) отделяются от последующей речи восклицательным знаком.

4) Комбинация вопросительного и восклицательного произношения крупнейшего синтаксического целого изображается комбинацией соответствующих знаков (?!).

5) Есть в языке еще одна характерная ритмическо-мелодическая форма крупнейшего синтаксического целого, заключаю-

щаяся в соединении неполного и запоздалого понижения голоса, как при разделительной точке с запятой, с обязательной и длительной паузой на конце и особым тембром всего целого, зависящим от той или иной эмоциональной окраски его. Форма эта изображается многоточием („*Как дымные очерки туч на алом разливе заката, плывут и плывут предо мной далекие тени былого . . . И вспомнил я детство мое, — мое одинокое детство . . .*“ Надс.; второе многоточие тоже авторское). Так как тут в дело замешивается тембр, то описать точно этот тип произношения крайне затруднительно, но мы уверены, что читатель, попробовав произнести для опыта весь пример спокойно-повествовательно, сразу схватит путем сравнения особый характер необходимого здесь произношения. Психологически тип этот, как и тип разделительной точки с запятой, об'ясняется неполным отделением данной мысли, но не от последующей, и не от предыдущей, а от внеязыковых переживаний данного момента. Отсюда и его эмоциональная окраска. Типом этим произносящий хочет намекнуть на ч о-то недосказанное, показать, что сказанное, несмотря на синтаксическую полноту его, есть лишь слабое, бледное, частичное выражение переживаемого.

6) Комбинация этого произношения с вопросительным или восклицательным выражается комбинацией соответствующих знаков (?. . . и !. . .).

7) С этим многоточием не следует смешивать многоточия после прерванных крупнейших синтаксических целых (сравн. табл. I, п. 6), которое является, собственно, внутренним знаком и оказывается на границе крупнейших синтаксических целых только из-за того, что данное синтаксическое целое не закончено.

IV. Употребление скобок, кавычек и черты.

Примеч. — Так как употребление скобок и кавычек, а в большинстве случаев и черты совершенно не связано с дроблением речи на предложения и группы предложений, то мы и

выделяем эти знаки в особую рубрику, чтобы не повторять про них одного и того же в каждой из предыдущих рубрик.

1) В скобках ставится всё, носящее и внешне и внутренно вставочный характер, будь то отдельный член предложения, или даже отдельное крупнейшее синтаксическое целое [„*Ну что, брат, каково делишки, Клим, идут? (В ком нужда, уж того мы знаем, как зовут)*“ Крыл.]. Характерными особенностями произношения являются здесь ускорение темпа речи и ослабление выдыханий и силы звука (более тихая речь), что и создает впечатление чего-то добавочного, неважного для основной речи, мимолетного. При этом тут важно именно соединение этих двух признаков: в отдельности быстрый темп совсем не обозначает незаинтересованности говорящего, а скорее, напротив, возбужденность его; тихое произношение тоже способно передавать возбуждение (трагический шопот). Но именно то, что мы здесь произносим известные слова и быстрее, и тише, чем всё окружающее, выражает ослабление интереса в данном пункте. Что касается знаков перед скобками и после них, то тут надо различать 2 случая: а) если в скобки попадает какая-либо часть крупнейшего синтаксического целого, то перед ними не ставится тот знак, который должен бы был стоять перед ними [„*И с обществами та ж судьба (сказать меж нами), что с деревянными домами*“ Крыл.]; b) если в скобки попадает крупнейшее синтаксическое целое (более редкий случай), то перед ними и после них ставятся те знаки, какие были бы и при отсутствии скобок (прим. см. выше).

2) В кавычках ставится всё, что автор хочет выделить, как чужую речь, хотя бы он и не приписывал её определенному лицу, или даже определенному народу, или определенной эпохе, а предполагал только, что кто-либо где-либо когда-либо мог бы так выразиться (напр., несмело вводимые новообразования). Другими словами, в кавычки ставим мы всё, что не решаемся категорически признать своей речью, будь то отдельное слово, или предложение, или сочетание предложений. В произношении такая речь, если она синтаксически сливается с окружающей речью, отличается от неё или подражанием тому лицу, которому приписывается (передразнивание), или просто вы-

делительными признаками: паузами по обеим сторонам, более сильными ударениями, более медленным темпом, иногда ироническим тембром и т. д.

3) Черта употребляется для обозначения обязательной фактической паузы в таком пункте, где по всем предыдущим правилам или не должно бы быть никакого знака („*Кому нет места и причины, кого мы называем — Бог*“. Держ.; „*И щуку бросили — в реку*“. Крыл.) или должна бы быть только запятая („*В журналах новость он найдет — всё перероет, пересадит . . .*“ Крыл.; „*Беленькая ручка боязливо высовывает на балкон предметы нежных забот — цветы*“. Тург.; логико-психологическое об'яснение подобных пауз см. у Грота, стр. 116, изд. 12-е). Так как запятая сама по себе не обозначает паузы, то черта во втором случае выражает ритмическо-мелодическую запятую плюс пауза, почему и ставится нередко рядом с запятой (прим. см. там же, стр. 117). Под это толкование вполне подходит, как частный случай, употребление черты после перечисления перед словом, подводящим ему итог („*И лес, и дальние деревни, и трава — всё облеклось в безразличный, какой-то зловещий цвет*“. Гонч.)*), потому что и здесь черта нужна только при паузе, при отсутствии же паузы ставится запятая („*и радость, и печаль, всё было пополам*“. Крыл.). Напротив, не подходит под него чисто-зрительная, не читающаяся черта, употребляющаяся в двух случаях: a) для обозначения отрицательной связки. („*ты — раб, ты — трус, ты — армянин!*“ Пушк., „*бедность — не порок*“, „*старость — не радость*“); b) для отделения в чужой речи слов одного лица от слов другого („. . ., *но ведать я желаю: вы сколько пользы принесли? — Да наши предки Рим спасли! — Всё так, да вы что сделали такое? — Мы ничего!!*“ Крыл.) или самой чужой речи от слов автора („*Поздравляю вас, — сказала она ему, указывая глазами на ленту*“. Л. Толст.). Черта первого рода, в связи с общим приближением знаков препинания к произношению, всё более

*) Раньше здесь употреблялось преимущественно двоеточие (см. „Русск. правопис.“, стр. 102, 104 и 117), но в настоящее время окончательно утвердилась, в согласии с произношением, черта.

и более выводится из употребления. Черта второго рода, представляя удобную замену кавычек и в то же время не искажая произношения, так как оно всецело определяется обязательным сопутствующим знаком, напротив, всё более и более входит в употребление.

Читатель, конечно, давно уже заметил, что наше рассмотрение знаков препинания устанавливает определенное соотношение между пунктуацией и основными ритмическо-мелодическими формами языка. И если принять во внимание, что самое понятие предложения берется в наших правилах (как и во всяких других) в его логико-психологическом, а не в грамматическом смысле, потому что под предложением понимается и любой обрубок фразы, если он выражает отдельную мысль и произносится с соответствующей интонацией и ритмом, если, далее, принять во внимание, что понятие однородных членов, обособленных членов, вопросительного, восклицательного и повелительного предложений, сложного предложения, в том об'еме, в каком они нужны для пунктуации, могут быть установлены только на ритмическо-мелодической почве, что обращение отличается в русском языке от подлежащего почти всегда только ритмом и мелодией, что в сложном предложении границы между отдельными предложениями нормально отмечаются повышениями голоса и ритмическими разделами (см. „Русск. синт.“, стр. 256), — если все это принять во внимание, то окажется, что чисто-грамматических правил, требующих от учащегося специальной грамматической подготовки, в наших таблицах найдется только четыре (на общее число 39); примеч. 1 и 2, п. 2-го табл. I, п. 3 табл. I и п. 12 табл. II. Все остальные правила и исключения могли бы быть свободно оторваны от синтаксиса и преподаны на почве выразительного чтения и декламационных терминов. Спрашивается, как же примирить этот результат с общеустановленным мнением, что наши знаки препинания в основе своей — синтаксические, что они отражают синтаксическую сторону речи? Признаемся, что мнение это кажется нам в значительной степени пережитком смешения синтаксиса с логикой и психологией. В самом деле, почему такие знаки, как точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, считаются син-

таксическими? Потому что они выражают взаимоотношения между мыслями. Но между какими мыслями, языковыми или вне-языковыми? Там, где те и другие совпадают, где мысли выражаются грамматическими предложениями, и число предложений соответствует числу мыслей, как отдельных психологических моментов, различить этого, конечно, невозможно. Но там, где такого совпадения нет, где мысли выражаются частями предложений или совершенно бесформенными элементами, где логико-психологическое и связанное с ним ритмическо-мелодическое дробление речи совершенно не соответствует синтаксическому, за чем следует там пунктуация: за синтаксисом или за психологией? Относительно всех знаков, кроме запятой (о которой ниже), двух ответов на этот вопрос быть не может. Ведь этим только и можно об'яснить общепризнанную суб'ективность знаков препинания. Синтаксис есть по преимуществу сфера общепринятого, об'ективного. Если бы знаки препинания были по существу синтаксическими, то поставить точку между именительным падежом имени и согласованным с ним глаголом было бы так же невозможно, как не согласовать сáмого глагола. Однако точку мы имеем право ставить где угодно (см. правило о точке в „Русск. правопис.“), а не согласовать не можем. По этой же причине нельзя считать знаков препинания и чисто-логическими. Логика тоже общеобязательна. А всякий знает, как пришлось бы перетасовать все точки, точки с запятой и двоеточия любого автора, если бы подвергнуть их отвлеченно-логической критике. С другой стороны, такие явления, как запятые при отдельных грамматически ничем не отличающихся второстепенных членах (обособление), как двоеточие после всякого предупредительного ударения, хотя бы ударяемым словом был союз или предлог, наконец, такие начертания, как: „*Но конец наступил. Самый обыкновенный. Какого и следовало ждать.*“ (Ф. Солог.), где на месте точек можно было бы поставить любой знак, а отчасти не ставить и совсем знаков, прекрасно об'ясняются психологической стороной дела и только ею и могут быть об'яснены. Конечный наш вывод: знаки препинания выражают по своей основной природе, а в огромном

большинстве случаев и в современной практике, взаимоотношения между **вне**-языковыми, и притом по преимуществу до-языковыми, индивидуальными мыслями, и этим об'ясняется их суб'ективная сторона, их зависимость от пишущего; но в то же время, в виду определенного отражения этих взаимоотношений в ритме и интонации речи и в виду существования в языке соответствующих ритмическо-мелодических типов произношения, они неизбежно, хотя и бессознательно, прикрепляются к этим типам, и в этом их об'ективная сторона, их общеобязательное значение для читающего.

К этому следует присоединить две существенных оговорки:

1) Мы не отрицаем связи между знаками препинания и синтаксической стороной речи, но считаем эту связь косвенной, а не прямой. Так, в табл. I п. 1, искл. b и в табл. II пп. 2, 3 и 4 мы установили, что распространенность сочетания обусловливает точку с запятой, а ведь распространенность есть синтаксический признак. Но там же мы видели, что распространенность вызывает в этих случаях физиологически необходимую паузу, которая и отмечается бо́льшим знаком препинания. Значит, знак препинания здесь хотя и связан с синтаксической стороной речи, но косвенно, через физиологию. Точно так же понятия обособленного члена, слитного предложения, вопросительного, восклицательного и повелительного предложений, сложного предложения мы, несмотря на их ритмическо-мелодическую сущность, ввели в свое время в синтаксис и считаем синтаксическими; следовательно, и знаки препинания, с ними связанные, связаны с синтаксисом. Но дело всё в том, что всё это явления пограничные между синтаксисом и психологией, что в синтаксисе все эти понятия приходится расширять только в силу неразрывности связи между психологической и синтаксической стороной явления, что с чисто-синтаксической точки зрения обособленным членом является только член с измененной конструкцией (сравн. „Русск. синт.“, стр. 277), слитным предложением — только предложение с союзами, сложным предложением — только предложение с

союзами и союзными словами, вопросительным предложением — только предложение с вопросительными частицами, и т. д. А так как знаки препинания именно с этими-то собственно-синтаксическими признаками как раз ни на иоту не связаны, то ясно, что связь их с синтаксисом и здесь косвенная — через психологию.

2) Мы не скрываем от себя и того, что в употреблении одного знака препинания — запятой, современная практика приводит пунктуацию в прямую связь с синтаксисом. Но мы задаемся вопросом, нужна ли эта связь и соответствует ли она основным задачам пунктуации Это зависит от того, как определять эти задачи. Мы определяем их, как чисто-фонетические — передавать на письме важнейшие (с логико-психологической точки зрения) ритмическо-мелодические оттенки речи. Отдавая в полной мере должное идеографическому принципу в области изображения слов, мы считаем его в области ритма и мелодии по существу неприменимым, ненужным и вредным; неприменимым, потому что самые идеи, которые могли бы быть оторваны от своей звуковой формы и которые действительно заключены в словах, здесь отсутствуют, а изображению подлежат лишь взаимоотношения между идеями, вряд ли могущие по своей отвлеченности и психологической сложности систематически символизироваться обычной, житейской, не какой-нибудь философской орфографией; ненужным — потому что серьезного „зрительного“ значения в смысле сокращения попутных воспроизводительно-слуховых процессов при чтении грамматический знак препинания не может иметь, в чем легко убедиться на нашей искусственной запятой после союза, который мы никогда не замечаем; вредным — потому что искусственно-грамматическая пунктуация не только лишает письменную речь важных, основных средств выражения (до некоторой степени это вообще для письменной речи неизбежно), но и искажает её, подставляя, так сказать, под неё несуществующие ритмическо-мелодические формы. В то время, как традиционная этимологическая или лже-этимологическая орфография слова не мешает (или почти не мешает) нам прочитать его естественно, в том самом, приблизительно, звуковом виде, какой имел в виду

современный нам автор, искусственный знак препинания всегда может быть произнесен, и тем самым автору будет приписана такая деталь его речи, какой у него не было. Правда, по отношению к отдаленным от нас исторически авторам такую же роль играет и традиционная орфография; она скрывает и искажает для нас звуки их речи Но тут важно то, что в звуках у нас похищается только материальная сторона их творений в ритме же и интонации предложений — внутренняя, духовная сторона. Особенно это прискорбно в области изящной литературы. Нет сомнения, что ритм и мелодия художественной речи суть неот'емлемые, органические части общей её художественной формы и связанного с ней содержания. С другой стороны, несомненно, что основные ритмическо-мелодические контуры предложений немечаются для читателя знаками препинания. И совершенно непонятно, почему нужно непременно в этой важной стороне художественного общения автора с читателем посредничество корректора, издателя и декламатора, почему подлинное авторское произношение должно похищаться у нас навек традиционным грамматическим пониманием знаков препинания? И вообще, если в языке есть действительно твердые, обще-употребительные и легко различимые ритмическо-мелодические типы предложений и границ между ними, могущие составить об'ективную основу для пунктуации (а к такому именно результату приводят не только наши наблюдения, но и специальные труды по теории декламации, сравн. Озаровский „Музыка живого слова“, Спб. 1914), то зачем искать эту основу там, где её так трудно найти, в синтаксисе как это до сих пор делалось? В частности, возвращаясь к нашему единственному более или менее синтаксическому знаку препинания, запятой, мы считаем: 1) что запятая примеч. 1 п. 2 табл. I и параллельная ей запятая п. 12 табл. II свободно могли бы быть упразднены; 2) что запятыя п. 3 табл. I там, где они не оправдываются чтением, должны быть упразднены, так как они служат сейчас специально для затемнения смысла (в предлож., напр., „он сделает это, конечно, с вашей помощью“ только обязательность двух запятых не позволяет различить, к чему относится „конечно“, — к предыдущему, к последую-

щему или ко всему предложению); 3) что безусловная недопустимость запятой в случаях, указанных в примеч. 2 п. 2 табл. I, могла бы быть обоснована на почве логического анализа фразы гораздо лучше, чем на почве синтаксического*); 4) что во всех случаях, кроме указанного в п. I, теперешняя графическая расчлененность сложного предложения, достигаемая механически-синтаксическим применением запятой и имеющая, быть может, действительно некоторое ориентирующее значение для зрительной стороны процесса чтения, сохранится в общих чертах и при чисто-декламационном применении этой запятой, так как именно в сложном предложении психологическое и синтаксическое дробление речи почти всегда совпадают, а границы между предложениями при нормально-выразительном произнесении почти всегда отмечаются теми или иными ритмическо-мелодическими признаками.

Мы прекрасно понимаем, конечно, что все эти беглые замечания содержат в себе зерно совершенно новой теории знаков препинания и методов обучения им, быть может, преждевременной при данном состоянии вопроса о ритме и мелодии предложения в лингвистической литературе и во всяком случае нуждающейся в более обстоятельном и солидном обосновании. Но, рассчитывая впоследствии вернуться к этому вопросу, мы считали небесполезным уже теперь намекнуть на те неизмеримо-важные практические и в частности педагогические перспективы, которые, может быть, сулит нам научное изучение ритмическо-мелодической стороны речи. Ведь в настоящее время как раз пересматриваются основы методики, грамматики и орфографии. И в области буквенно-орфографической даже поднят вопрос, нужна ли подлинно грамматика

---

*) Возможно, впрочем, что дальнейшее изучение ритмическо-мелодической стороны предложения сделает вообще это примечание ненужным, а с ним и данную оговорку. С другой стороны, возможно и введение в некоторые из этих случаев запятой или черты, напр., в такие, как: „и пращ, и стрела, и лукавый кинжал — щадят победителя годы“, тем более, что черта и сейчас допускается между логическим подлежащим и сказуемым (при отрицательной связке).

для орфографии. Наши наблюдения над языком привели нас к более частному, но совершенно параллельному и практически не менее важному вопросу: нужен ли синтаксис для пунктуации? И какое бы решение ни ожидало этот вопрос в будущем, самую постановку его мы считаем чрезвычайно важной и своевременной.

Роль выразительного чтения в обучении знакам препинания.

Современные знаки препинания принято считать показателями грамматического расчленения речи. В учебниках декламации они называются „грамматическими" знаками препинания и тем противопоставляются предполагаемым реально-фонетическим знакам, которые вытекают из требований теории художественного чтения. „Интерпункция, — говорит Булич в энциклопедии Брокгауза в статье о знаках препинания, — делает наглядным синтаксический строй речи, выделяя отдельные предложения и члены предложений". Теоретические занятия синтаксисом и в частности теми вспомогательными синтаксическими средствами языка, которые по самой природе своей неграмматичны и могут входить в синтаксис лишь по связи его с психологией — я имею в виду ритм и интонацию предложения, — привели меня к диаметрально-противоположному взгляду на современные знаки препинания. Несмотря на упорное стремление грамматистов в течение всей многовековой истории знаков препинания прикрепить их к определенным грамматическим понятиям и правилам, они и поныне отражают, по моему убеждению, в огромном большинстве случаев, не грамматическое, а декламационно-психологическое расчленение речи. Так как такой взгляд приводит меня к некоторым довольно важным школьно-практическим выводам, я позволю себе занять ваше внимание детальным, насколько позволит отмеренное мне время, анализом существующих правил о знаках препинания с этих двух противополагаемых мною друг другу

точек зрения: грамматической и декламационно-психологической.

Но предварительно я должен сделать одну важную оговорку. Слово „грамматический“ может употребляться в двух смыслах — в широком и в узком. Ритм и интонация предложения, будучи по природе своей явлениями неграмматическими, могут, тем не менее, в определенных случаях приобретать значения, аналогичные тем, какие создаются формами слов и их сочетаний, и становиться, следовательно, побочными грамматическими, в частности синтаксическими, признаками. В качестве таковых они входят составной частью в грамматику и в синтаксис. Но в то же время признаки эти могут на каждом шагу и противоречить собственно-грамматическим признакам, ибо всегда и везде отражают в основе своей всё-таки не грамматическую, а только обще-психологическую стихию речи. При таких условиях отделять эти факты от собственно-грамматических насущно необходимо даже и для наиболее горячего сторонника введения их в грамматику. В дальнейшем вы позволите мне для простоты употреблять слово „грамматический“ лишь в его узком значении, т.-е. в смысле „собственно-грамматический“.

Единственное правило Грота об употреблении точки гласит: „Точка ставится, когда пишущий считает нужным означить полное отделение одного предложения от другого“. В правиле этом мы находим на первый взгляд соединение психологического и грамматического моментов: воля пишущего ограничивается тем, что отделяемое должно быть предложением. Однако, если принять во внимание, что термин „предложение“ понимается Гротом, конечно, с его психологической, а не грамматической стороны, что под предложением здесь разумеется всё, что сознается самим пишущим, как выражение его отдельной мысли, независимо от грамматического состава этого выражения, то ясно будет, что в конечном счете всё сводится к намерениям пишущего. Фактически мы находим точку не только между грамматическими предложениями, но и между неграмматическим и грамматическим („Ночь. Успели мы всем насладиться“ ... Некрасов), между двумя неграмматическими, на-

конец, что важнее всего, между такими формами, которые, не будь между ними точки, непременно читались и сознавались бы, как члены одного и того же грамматического предложения („Сюда, батюшка мой. Входи ...“ Анфиса в „Трех сестрах“; „Милые, полковник незнакомый. Уж пальто снял ...“ она же там же; „Сейчас на Московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек ...“ Федотик там же; „Замуж выхожу. За Медведенка ...“ Маша в „Чайке“; сравните те же фразы без точки: „сюда, батюшка мой, входи“, „полковник незнакомый уж пальто снял“, „купил для вас цветных карандашей и вот этот ножичек“, „замуж выхожу за Медведенка“). И если мы не хотим впасть в порочный круг, об'явив „предложением“ всё, что отделено точкой, то мы должны будем признать, что дело тут не в границах между предложениями, как определенными грамматическими величинами, а в чем-то ином. Это иное отсутствует в правиле Грота, отсутствует и во всех других его правилах пунктуации, отсутствует и во всех вообще известных мне европейских правилах, и, тем не менее, оно есть единственная бессознательная опора наша при постановке подобных знаков, единственное об'ективное промежуточное звено между намерениями пишущего и пониманием читающего. Это иное есть ритм и интонация того, что отделено точкой. Точка, несомненно, определенным образом читается, и потому-то пишущий и может ставить её везде, где хочет вызвать соответствующее чтение. Я не могу входить здесь в подробности той декламационной фигуры, которая обозначается точкой. Могу только сказать, что в общем её можно охарактеризовать, как спокойное, заключительное понижение голоса с последующей паузой, что в этом общем виде она признана всеми декламаторами, что детально она еще не изучена, что в живом разговорном языке, несомненно, имеется несколько разновидностей её, об'единенных в сознании известными общими ритмическо-мелодическими признаками и общим значением полного отделения одной мысли от другой. В данный момент мне важно установить только то, что всякую точку можно независимо от грамматических условий прочитать вслух и что таких точек, которых бы не следовало читать, нет.

А если так, то она есть знак чисто декламационный на психологической основе. Правда, в огромном большинстве случаев декламационные границы этого рода совпадают с грамматическими, напр., во всей научной литературе, во всех описаниях, рассуждениях, вообще во всём, что не связано непосредственно с живой разговорной речью. Но ведь для определения природы того или иного знака важны не случаи совпадения грамматических и психологических условий, как бы многочисленны они ни были, а важны случаи расхождения этих условий. Там, где психология и грамматика совпадают, значение точки скрыто от нас самым фактом совпадения; там, где они расходятся, оно выявляется: точка пренебрегает грамматикой и следует за психологией.

Из пяти правил Грота о двоеточии (перед об'яснением, перед перечислением, перед началом чужих слов, перед второй частью чужих слов и после перечисления перед словом „всё") также ни одно не может быть названо грамматическим, так как сами по себе понятия об'яснения, перечисления и чужих слов, раз они не прикреплены к определенным формам слов и словосочетаний, — неграмматичны. Фактически двоеточие употребляется не только между неграмматическими предложениями, но и в середине предложений, и притом еще более прихотливо, чем точка: оно возможно между подлежащим и сказуемым („к нам пришли: Иван, Федор, Петр и другие"), между союзом и присоединяемыми им словами (после „как-то"), даже между предлогом и зависящим от него падежом („слова делятся на: существительные, прилагательные, наречия и т. д."). И в то же время оно тоже всегда определенным образом читается. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать хотя бы те же примеры Грота с интонацией точки, т.-е. без выражения об'яснения, перечисления и т. д. и параллельно с интонацией, выявляющей эти оттенки*). Опять-таки я не могу входить в детальное описание этой декла-

*) Желающему проследить детально изменения, вносимые в чтение двоеточием, я рекомендую следующий прием: закрывать рукой поочередно то левую, предшествующую двоеточию, часть фразы, то правую, следующую за ним, и читать оставшееся обычным, спокойно-повествовательным тоном, как будто бы закрытой части не существовало; а затем сравнивать с таким чтением связное чтение обеих частей.

мационной фигуры, которую, как мне кажется, мне удалось определить и зафиксировать в моих книгах, как „неспокойное по ритму, предупредительное понижение с последующей паузой", и которая в деталях должна, конечно, изучаться далее. Мне важно только отметить, что в языке существует такая основная фигура для чтения двоеточия, об'единяющая все значения этого знака и легко воспроизводимая человеком, желающим выразить в чтении то или иное значение. Из приводимых Гротом и другими грамматистами случаев только три не могут быть так прочитаны: 1) двоеточие после перечисления перед словом „всё", 2) двоеточие с последующим перечислением частей, описательного характера („Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто", „смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постели девица, лет двадцати, в беспамятстве", оба примера из Тургенева), 3) двоеточие после вставного „сказал", „воскликнул" и т. д. („А почему ехать мне вправо?" спросил ямщик с неудовольствием: „где ты видишь дорогу?" Пушк.). В первых двух случаях мы имеем иную фигуру, фигуру повышения с последующей резкой и неожиданной паузой, свойственную, как я надеюсь показать дальше, чтению черты, и надо заметить, что в обоих этих случаях черта на практике как раз и выясняет все более и более двоеточие, так что в первом случае, перед „всё", двоеточие уже прямо может считаться устарелым, а во втором, по крайней мере, необязательным. В третьем случае (после вставного „сказал") двоеточие, как известно, соперничает с запятой, и права их разграничиваются здесь разными грамматистами различно. Во всяком случае на практике двоеточие связано здесь с тем же чтением, что и при запятой в этих случаях (чтение вводного типа, о чем скажу далее), разве только с несколько бóльшей паузой и несколько бóльшим понижением к концу вставки, да и то не всегда. Таким образом, двоеточие в этом случае должно быть признано в значительной мере зрительным знаком. О совершенно „немом" двоеточии перед названиями, когда эти названия привычны и не выделяются голосом („мы вернулись на пароходе: „Святая княгиня Ольга"), я не считаю нужным говорить, так как такое двоеточие уже совершенно устарело.

Есть еще один способ чтения двоеточия, который я бы назвал специфически-об'яснительным, — способ гораздо более редкий и ранее ускользавший от моего внимания. Примерами на него могут служить следующие сочетания:

„Жаром от неё так и пышет, дышит тяжело: горячка" (Тург.).

„А в гостиной уже самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя" (Тург.).

„Подали мне чай, просят остаться ночевать... я согласился: куда теперь ехать!" (Тург.).

В отличие от предыдущего типа чтения здесь все особенности, связанные с выражением двоеточия, сконцентрированы во второй части, следующей за двоеточием. Она произносится с особым характерным повышением голоса, имеющим целью выразить ссылку на предыдущее, об'яснить его (на подробностях не останавливаюсь; само же предыдущее то произносится обычным тоном, как если бы дальше не было пояснения, то втягивается, так сказать, в орбиту пояснения и уподобляется по тону последующему, что кажется мне уместным (хотя и необязательным) в следующих примерах:

„А вы знаете, этим неглижировать нельзя: практика от этого страдает" (Тург.).

„Умер человек, — не твоя вина: ты по правилам поступал" (Тург.).

„Сержусь-то я на самого себя: сам кругом виноват." (Пушк.).

В этих случаях связь между об'ясняемым и об'яснением выражается особым параллелизмом, особой об'яснительной однотонностью произнесения обеих частей, которая невозможна ни при каком другом знаке.

Чтобы покончить с двоеточием, должен еще сказать, что в отличие от точки у иных авторов часто встречаются чисто-логические двоеточия на месте фонетической точки с запятой, — двоеточия, которых при всем желании никак нельзя выразить чем-нибудь специфическим в чтении („Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарства с трудом из города доставлялись ..." „Но дураком Господь Бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю", оба при-

мера из Тургенева, в обоих двоеточие читается точь в точь так же, как и соседняя точка с запятой). Двоеточия эти можно одобрять или порицать в зависимости от общего взгляда на знаки препинания и их задачи. С моей точки зрения они, конечно, не нужны и вредны. Но и становясь на об'ективную почву наблюдений над практикой пунктуации я могу, кажется, утверждать, что подобные двоеточия нельзя признать в настоящий момент общеобязательными: вряд ли кто-нибудь из вас был бы настолько придирчив, чтобы подчеркнуть в вышеприведенных примерах точку с запятой, поставленную учеником на месте тургеневского двоеточия.

Правила Грота и других грамматистов о точке с запятой (у Грота как раз довольно сбивчивые) могут быть сведены к двум рубрикам: 1) точка с запятой, как заместительница точки, для выражения меньшего отделения мыслей друг от друга, чем при точке, и 2) точка с запятой между однородными членами слитного предложения или между однородными придаточными, когда те и другие пространны и имеют уже внутри себя запятыя. В первом случае знак этот, конечно, настолько же неграмматичен, как и точка, которую он заменяет. Во втором случае он в такой же мере связан одновременно и с декламацией и с грамматикой, как и запятая, которую он здесь замещает и о которой я буду говорить дальше. Во всяком случае точка с запятой опять-таки всегда читается, при чем способов чтения, по моим наблюдениям, два: 1) неполное по сравнению с точкой понижение голоса с неполной же по сравнению с ней паузой или даже совсем без паузы, напр.:

„Некоторые из казаков хотели его поймать и представить как возмутителя в комендантскую канцелярию; но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым“ (Пушк.).

„В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали“ (Пушк.)*).

---

*) Предполагаю этот способ чтения, как наиболее вероятный и наиболее подходящий к этому тексту. Но возможно, особенно во втором примере, и чтение второго типа, как и вообще всякая точка с запятой может читаться, по моим наблюдениям, на два лада, вследствие смешения двух ритмическо-мелодических фигур, близких по значению.

Это то, что я называю „слабой точкой“; 2) повышение голоса, как при запятой, но с обязательной, в отличие от запятой, и притом значительной по времени паузой, напр.:

„Впереди огромная лиловая туча медленно подвигалась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные и серые облака, ракиты тревожно шевелились и лепетали“ (Тург.).

Это то, что я называю „усиленной запятой“ (наиболее уместно при перечислении частей картины, как в данном случае; обратите внимание, что если отказаться от паузы, то, сохраняя перечисляющий тон, получается обычное чтение простой запятой). Во всяком случае „немых“ точек с запятой представить себе, повидимому, невозможно.

„Многоточием, — говорит Грот в единственном своем правиле о нем, — отмечается либо неоконченная мысль, либо многозначительное размышление или сильное чувство“. Психологическая подпочва знака выражена здесь весьма ясно, особенно если принять во внимание, что неоконченность мысли отнюдь не влечет за собой грамматической неоконченности выражающего их словосочетания. Предложения, напр.: „Отведи г. офицера ... Как ваше имя и отчество, мой батюшка?“ (Пушк.) или: „Как длинные очерки туч на алом разливе заката, плывут и плывут предо мной далекие тени былого ... И вспомнил я детство мое, мое одинокое детство ...“ грамматически вполне закончены, а во втором примере даже весьма распространены. В соответствии с этим многоточие всегда читается, при чем основных способов чтения опять-таки, повидимому, два: 1) в случаях действительного перерыва речи и логической недостачи тех или иных слов (мой 1-й пример) просто имитируется тот жизненный случай, который вызвал эту недостачу (кашель, смущение, запамятование и „подыскивающий“ запамятованное тон и т. д.), при чем перерыв речи выражается, помимо этих специфических средств, еще и перерывом самой интонации, обрывающейся на таких нотах, которые сами по себе сознаются нами как средние, а не конечные (иногда с намеренной утрировкой этой „среднести“); 2) в случаях чисто-психологической неоконченности, когда все слова налицо, но сказанное пред-

ставляется лишь как слабое, неполное отражение переживаемого (мой 2-й пример), всей фразе сообщается особый „задумчивый“ тембр эмоционального характера (более слабого, конечно, чем при восклицательном знаке). Ритм и мелодия этого случая мне еще не вполне ясны, но они, конечно, невольно воспроизведутся вместе с тембром всяким, кто захочет отличить в чтении такое многоточие от точки.

О декламационном значении восклицательного и вопросительного знаков говорить не приходится, так как они и по Гроту служат „для показания тона речи“.

Скобки изображают собой особый вводный тип произношения, настолько легко наблюдаемый и настолько ясно описанный в декламационной литературе, что я не считаю нужным его касаться. Грамматического значения у них нет никакого, так как в скобках может быть и любой отрезок предложения, и целое предложение, и сочетание предложений.

Кавычки для обозначения чужой речи обусловливают, конечно, все те отличия, которые мы приписываем чужой речи по сравнению со своей. И стремление разграничить в представлении слушателя цитируемое от авторского всегда так или иначе скажется в пропущенном (детали опускаю). Но кавычки при названиях, если эти названия привычны, могут быть чисто-зрительными (сравните: „говорили о „Евгении Онегине“ и: „говорили о Евгении Онегине“, где кавычки помогают отличить название романа от имени героя его, но не дают ни малейшего различия в тоне (сравн. сказанное выше о двоеточии в этих случаях). Эти кавычки — чисто-логические.

Употребление черты никак не может считаться в настоящее время урегулированным в теории нашей пунктуации. Поэтому я буду исходить в данном случае из практики и собственных наблюдений над ней. Случаи употребления черты, по-моему, можно разделить на два рода: читаемые и нечитаемые. Первые случаи грамматически совершенно неопределимы, так как черта в них является знаком только неожиданности и вескости того, что следует за ней (или что включено в две черты), независимо от того, в каких именно формах выражено это неожиданное и веское. Под это психологическое толкование подходят

и черты перед прямой логической неожиданностью — парадоксальным концом фразы, и черта при противоположениях, и черта при веских, не терпящих вводного чтения, вводных словах, и черта, резко прерывающая перечисление перед словом „всё", и черта при многозначительных и длинных или, наоборот, кратких, но плохо прилаженных по стилю к предыдущему и потому неожиданных обособленных приложениях, и черта при всякого рода опущениях, когда эти опущения подчеркнуты в сознании, — словом, все известные мне виды читаемой черты. Чтение такой черты, если она стоит одна или с запятой, сводится в основе своей, по-моему, к сильному повышению голоса перед чертой, необычно продолжительной паузе на месте её и особо энергичному приступу (в детали которого я не могу здесь входить) к тому, что следует за ней („шагнул — и царство покорил", обратите внимание на резкость звука „и" при усиленном выражении голосом черты и сравните его с обычным „и", положим, в сочет. „и ночь, и любовь, и луна...", не говоря уже о том, что и самый звук „п" возможен здесь только благодаря черте, без неё же получилось бы „ы": „шагнулыцарство покорил"). В случае, когда черта сопровождает другие знаки (двоеточие, точку с запятой, требующие предшествующего понижения), черта, понятно, лишь удлиняет паузу и влияет на последующее, но не на предыдущее. Черта 2-го рода, не читаемая, встречается при обычном, неподчеркнутом произношением пропуске связки („Бедность — не порок" в обычном, не нарочито-резонерском произношении) и при других, не обозначенных произношением опущениях. В этом случае она резко грамматична, но надо заметить, что такая черта не узаконена Гротом: при опущении связки он узаконивает черту, только „когда без черты отношение между обеими частями предложения не было бы ясно", что сводится, очевидно, к некоторой неожиданности сказуемого (к чему как нельзя более подходят и все три примера Грота: 1) „Между откупщиков, с которыми теперь и графы и князья — друзья" 2) „Велико дело — миллион!" и 3) „А философ — без огурцов"), а при других опущениях — „когда при ускоренной речи опускаются слова, употребительные при спокойном выражении мыслей" (курсив

мой). Из этой-то явно-психологической (и потому неизбежно и декламационной) черты Грота и была создана, по недоразумению, грамматистами грамматическая нечитаемая черта при всяком опущении.

Мне остался один знак, намеренно отодвинутый мной к концу вследствие его принципиального отличия от всех предыдущих знаков. Это роковая для ученика запятая. Правила о запятой равняются обычно по об'ему всем остальным правилам пунктуации, вместе взятым, и многие из них несомненно оперируют уже с определенными грамматическими понятиями. В то же время запятая во многих случаях имеет и фонетическое значение. Таким образом, в употреблении запятой возможен уже прямой конфликт между грамматикой и декламацией, и в конфликте этом (надо заметить, не столь частом, как это принято думать) грамматика почти всегда побеждает. В этом-то и особенность этого знака.

Чтение запятой, там, где оно возможно, сводится, как мне кажется, к 4-м типам: 1) подчинительное фразное повышение голоса, отмеченное давно уже в декламационной, а частью и в лингвистической литературе. Особенно выразительно звучит оно при повествовательном повторении после точки („Тут проходит Иван Иванович. Приходит Иван Иванович, а все на него так и накинулись . . .“ сравните интонацию слов „Иван Иванович“ в первом и во втором случае). Фигура такого повышения (при котором пауза, вопреки ходячему представлению, может и отсутствовать, так что суть дела именно в повышении, а не в паузе) очень распространена в языке (правда, в разговорном языке в нескольких разновидностях), имеет определенное психологическое значение (неоконченности, теснейшей связи с последующим), и она-то, по всей вероятности, и создала европейскую запятую между отдельными предложениями, составляющими сложное*). 2) Фигура перечисления, заключающаяся в том, что перечисляемые элементы (всё равно, отдельные члены предложений, или целые предложения, или сочетания их)

*) Та же запятая употребляется и внутри предложения при так называемых обособленных членах, — единственный случай, где в употреблении запятой практика узаконила победу психологии над грамматикой.

произносятся однотонно, т.-е. ударяемые слоги тех слов, которые в каждой из перечисляемых групп несут на себе логическое ударение, нота в ноту совпадают друг с другом („В лесу ночной порой и дикий зверь, и лютый человек, и леший бродит . . .“). Это запятая однородных членов слитного предложения и однородных по союзу сочиненных или соподчиненных предложений. 3) Вводное чтение, обыкновенно не настолько яркое, как при скобках (так сказать, „слабые скобки“), напр.: „Ну, а когда вы, с Божьей помощью, устроитесь?“ или: „если вы. ваше превосходительство, сомневаетесь . . .“ (слова, взятые в запятых, несмотря на грамматическую разницу, читаются в обоих примерах одинаковым слабовводным способом, разумеется, отнюдь не с паузами, а, наоборот, особенно быстро и плавно). 4) Звательное чтение, когда обращение стоит в начале речи („Ваня, подай стул!“), весьма характерное и легко уловимое, почему на описании не останавливаюсь (тоже без паузы, при паузе становится необходимым восклицательный знак).

На ряду с такими запятыми, связанными с определенными способами чтения, я нахожу следующие типы нечитаемых, „немых“ запятых, частью грамматического, частью лже-грамматического, исторического происхождения:

1) Запятая между союзом и включенным тотчас после него придаточным предложением или обособленной группой („и, когда пришел, сказал . . .“, „и, придя, сказал . . .“, в обоих случаях запятая после „и“), 2) запятая при привычных вводных словах, как „ведь“, „право“, „конечно“ и т. д., 3) запятая в слитном предложении при повторенном дважды союзе („ни он, ни я не знаем“), одинаково факультативная, впрочем, и в письме, и в чтении, 4) одна из запятых при неполном одночленном предложении с союзом „как“ („О я, как брат, обняться с бурей был бы рад“, „Жизнь, как могила, темна“, в 1-м примере не читается первая запятая, во 2-м — вторая), 5) нередко запятая перед придаточным предложением, начинающимся с „что“ и с „который“: „человек, который прийдет сюда, покажет тебе дорогу . . .“, „видя, что он болен, я ушел“ и т. д.; было бы нехудожественно требовать от чтеца во что бы то ни стало

ударения и повышения на словах „человек“ и „видя“, 6) в редких случаях в конце многочисленных сложных предложений, если заключительное понижение, вследствие многочленности, началось ранее последнего члена („когда я пришел к нему и мне сказали, что его нет дома и не будет до са́мого вечера, так как он уехал в именье, я попросил бумаги, чтобы написать записку“, запятая после „бумаги“ может не читаться во избежание утомительного нагромождения однообразных повышений), 7) в разговорной речи придаточное предложение может и при любом союзе и в любом положении не содержать своего особого психологического сказуемого и потому не иметь ни отдельного ударения, ни повышения (сравн., напр.: „А что надо сделать, чтобы достичь этого?“, сказанное с сильным и единственным ударением на слове „что“ и с последующим непрерывным понижением голоса и ослаблением силы до са́мого конца). Запятая, как знак грамматический, в таких случаях обязательна. Впрочем, надо заметить, что в собственно-литературной речи (для которой ведь, собственно, и существует пунктуация) такие случаи крайне редки. В авторском тексте они, вероятно, совсем не встречаются, а только в прямой речи, где, может быть, такие запятыя следовало бы об'явить факультативными.

Но, быть может, еще важнее практически и еще многочисленнее случаи обратного характера, когда запятая по требованию грамматики отсутствует там, где соответствующие приемы чтения необходимы. Сюда относятся:

1) Повышение в середине предложения, в литературной речи преимущественно между подлежащим и сказуемым (вернее между группой членов, относящихся к подлежащему, и группой сказуемого); в разговорном — между любыми группами („Умение входить в положение других было одной из лучших черт в характере царя“, Ключ., „К этой тесемочке пришивается крючок, а потом этим крючком зацепляешь за петельку“ ... в первом примере запятая слышится после „других“, во втором после „тесемочке“ и после „крючком“). Дело в том, что в нашем языке и простые предложения наравне с сложными в огромном большинстве случаев имеют двучленную, восходяще-нисходящую интонацию, что на письме отмечать строго воз-

браняется грамматикою (пресловутая запятая учеников между подлежащим и сказуемым, почти всегда фонетическая). 2) Повышение между двумя сказуемыми, соединенными союзом „и“ при общем подлежащем („подходит он к ней и говорит ...“ „Я сел на лошадь и помчался“, перед союзом слышна запятая). 3) Однотонное чтение последнего члена в перечислении („ни он, ни я не знаем“, „в лесу, в поле, дома его преследовали воспоминания“, запятая слышна после „я“ и после „дома“. 4) Однотонное чтение двух однородных членов, соединенных союзом, особенно сколько-нибудь распространенных („мой маленький брат и его товарищ сидят в комнате“, запятая слышна после „брат“).

Анализ мой кончен. Спрашивается: какие же практические выводы могла бы дать подобная теория пунктуации, если бы она была принята? Мне кажется, следующие два:

1) Усвоение всех знаков препинания, кроме запятой, раз они не коренятся в синтаксических условиях речи, не нуждается в поддержке синтаксиса и даже тормозится в иных случаях этой противоестественной поддержкой. Но зато тем более необходима для огромного большинства этих знаков (исключение составляют, как мы видели, если не считать устарелых приемов пунктуации, только двоеточие после вставного „сказал“ и кавычки при привычных названиях) поддержка со стороны выразительного чтения. План обучения при этом получается такой: ученик приучается при чтении вслух всегда сознательно читать эти знаки, т.-е. приводить в связь ту или иную произносительную фигуру (которая дается ему, конечно, бессознательно самой „выразительностью“ чтения) с тем или иным знаком (что он должен выражать, кроме знаков, еще и массу других вещей, об этом едва ли нужно упоминать). В случае подмены одного чтения другим ему должно указываться, что он прочитал не такой-то знак, который здесь напечатан, а такой-то (насколько позволительна сама подмена — оставляю в стороне). Этими и многими другими путями, которые может указать только практика, у ученика на уроках выразительного чтения образуется прочная ассоциация каждого знака с соответствующей произносительной фигурой (или

фигурами, если знак их имеет несколько), — ассоциация протекающая, конечно, в обоих направлениях. Затем при расстановке знаков в собственной работе ученик приучается мысленно читать вслух написанное, а еще лучше — мысленно слышать себя во время самого писанья и соответственно ставить знаки. Такие знаки будут разнообразнее, гибче, выразительнее, индивидуальнее, чем измышляемые ныне на грамматической почве, и в то же время грамматической ошибки в них по существу, с точки зрения моей теории, быть не может.

2) Усвоение одного знака, запятой, требует координированной поддержки выразительного чтения и грамматики. При чтении вслух ученик замечает, какие запятыя он читает, а какие нет и какие лишние запятыя в его чтении. В двух последних случаях он синтаксически истолковывает, почему в тексте имеется „немая“ запятая, или почему такая-то произносимая запятая не поставлена. Этим путем у него в одних случаях вырабатывается опять-таки ассоциация между чтением и знаком, а в других — сознательно-осторожное отношение к фонетической постановке знака. Далеко не одно и то же сказать ученику: „между подлежащим и сказуемым запятой не ставится“ или сказать „хотя ты здесь и слышишь и произносишь запятую, не ставь её“. Вы, вероятно, уже заметили, что то, что я называю „грамматическим отсутствием запятой“, как раз и является наибольшим камнем преткновения для учеников. Чем одареннее в художественном, стилистическом и особенно музыкальном отношении ученик, и чем менее он силен в грамматике и логике, тем чаще ставит он в таких случаях бессознательно-фонетическую запятую. С другой стороны, напуганный тем, что эта запятая оказывается ошибкой, он не ставит запятой уже и в тех случаях, где её велят ставить и фонетика, и грамматика. Как и в буквенной области здесь идут рука об руку и фонетическая ошибка и лже-грамматическое мудрствование. И как сознательное усвоение буквенной орфографии невозможно без хотя бы минимальной оглядки на звуки, так сознательное усвоение пунктуации (а в этой области сознательность еще более нужна, так как зрительная опора здесь сама по себе ничтожна)

невозможно без оглядки на те произносительные фигуры, которые, худо ли, хорошо ли, но, во всяком случае, отразились в современной пунктуации.

Замечу еще, что такое сближение выразительного чтения с пунктуацией послужит на пользу не одной только пунктуации. Мысленно слышать то, что пишешь! Ведь это значит написать красиво, живо, своеобразно, это значит заинтересоваться тем, что пишешь, прочувствовать его! Как часто учителю достаточно прочитать с кафедры нескладное выражение ученика, чтобы автор ужаснулся собственному выражению. Почему же он его написал? Потому что не слышал, когда писал, потому что не читал самого себя вслух. Чем больше ученик будет читать себя вслух, тем лучше он будет вникать в стилистическую природу языка, тем лучше он будет писать. Воссоединение письменной верхушки языкового древа с его живыми устными корнями всегда животворит, а отсечение всегда мертвит.

Быть может, у некоторых из вас уже зародилось в уме то возражение, которое мне нередко приходилось слышать в частной беседе и которое настолько естественно, что есть смысл его тут привести и, как я надеюсь, устранить. Можно ли указать учителю, говорили мне, при современном состоянии этого вопроса в лингвистике и в теории декламации, такое пособие, которое бы прямо и детально учило, как читать тот или иной знак? А если такого пособия нет, то как же предлагать учителю учить тому, чего он сам не знает? Мне кажется, что это возражение упускает из виду основную интуитивную, подсознательную сторону ритмическо-мелодических фигур языка. Человек может не знать, в чем состоит та или иная фигура (а фонетический состав каждой фигуры, надо заметить, необычайно сложен и, даже исследованный, вряд ли когда-нибудь сможет быть упрощен для школы), но может подметить ее, сознательно ассоциировать с тем или иным психологическим значением, сознательно воспроизводить, помнить. Сошлюсь на восклицательный и вопросительный знаки. Многие ли знают, в чем фонетическая сущность восклицания и вопроса? Точно не знает этого еще даже и наука. К тому же и разновидностей

произношения здесь еще больше, чем при других знаках (особенно в восклицаниях). И, тем не менее, все мы держим в уме восклицательный и вопросительный типы произношения и связываем их с психологической сущностью вопроса и восклицания. Почему же не попытаться связать и те приемы, которые каждый из нас бессознательно применяет при чтении других знаков, с психологическим значением этих знаков, хотя бы в том виде, как оно описано Гротом? Для восклицательного и вопросительного знаков мы заставляем ученика только восклицать и спрашивать, не заботясь о том, что каждый будет восклицать и спрашивать по-своему (основное однообразие приходит само собой). Точно так же для других знаков можно побуждать ученика отделять голосом одну мысль от другой (точка), несовсем отделять (точка с запятой), предупреждать или пояснять (двоеточие), перечислять или связывать (запятая) и т. д. Всё это несколько труднее, чем восклицать и спрашивать. Восклицательный и вопросительный знаки психологически элементарны, почему и были поняты прежде других знаков. Но не пора ли сделать здесь уже следующий шаг?

В заключение должен отметить, что хотя вопроса о реформе правописания, как выходящего за пределы моей задачи, я не мог здесь касаться, однако я позволю себе надеяться, что вопрос этот всё-таки молчаливо затронут всем предыдущим изложением. Для вас, вероятно, не прошли незамеченными все случаи непоследовательности, искусственности, непрактичности, а главное — незаконченности, неясности и спутанности нашего пунктуационного канона, лишь слегка намеченного Гротом и с тех пор никаким авторитетом не детализированного. И в настоящее время, когда снова появляется надежда на осуществление наших долгих чаяний в вопросе о реформе орфографии, я не могу не закончить своего доклада напоминанием о насущной необходимости увенчать здание реформы преобразованием правил пунктуации. Ведь пунктуация — далеко не мелочь. Не надо забывать, что лишь через посредство её языка тянутся к нам из-за могилы голоса Пушкиных и Лермонтовых. И всякий, кто хотя бы случайно сличал разные издания одного и того же поэта, знает, как глухо, невнятно, порой даже

непонятно звучат для нас эти голоса! Научно-разработанная, строго последовательная, гибкая в своих средствах и точная в определениях, достаточно детализированная, не непременно насквозь фонетическая, но во всяком случае всесторонне приспособленная к нуждам литературы и школы, система пунктуации была бы огромной культурной ценностью.

[illegible]

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие ко 2-му изданию 5
Введение 7
I. Противоречия между школьной и научной грамматикой 45
II. Школьный разбор и научная грамматика 59
III. Знаки препинания и научная грамматика 81
Роль выразительного чтения в обучении знакам препинания 106

От государственного издательства

К I-му мая вышли из печати, сданы в набор и подготовляются к печати следующие издания, по степени популярности изложения их, разделенные на три серии.

1 СЕРИЯ. „НАУКА ДЛЯ ВСЕХ".

ПЕЧАТАЮТСЯ:

* ПОНЯТСКИЙ, Н. С. — Как произошел человек.
* КОНОБЕЕВСКИЙ, С. Т. — Как плавают в воде и воздухе и как летают.
* ТИМИРЯЗЕВ, А. К. — Что такое физика и чему она учит.
* ШУЛЬГА-НЕСТЕРЕНКО, М. И. — Снег и лед в жизни земли.
* ШВЕЦОВ, М. — Железо, его родина и история.
* СОШКИНА, Е. Д. — Торф.

ПОДГОТОВЛЯЮТСЯ К ПЕЧАТИ:

* ВИЛЬБОРГ, М. В. — Что такое лабораторная работа.
* ВИЛЬБОРГ, М. В. — О косности.
* ВИТМЕР, Б. А. — Естественно-исторические области России и сельское хозяйство в них.
* БОЛХОВИТИНОВА. — Родина уличного булыжника,
* СОШКИНА, Е. Д. — Об оползнях и обвалах земли.
* ШУЛЬГА-НЕСТЕРЕНКО, М. И. — О землетрясениях.
* ШУЛЬГА-НЕСТЕРЕНКО, М. И. — История тротуарной плиты.
* ВОЛКОВ. — Происхождение мира.
* МАТЕЙСЕН- — Кометы
* НАБОКОВ. — Солнце.
* НАБОКОВ. — Звезды,
* САПГИН. — Изменение календаря,

(Звездочкой помечены впервые издаваемые книжки, остальные же вновь проредактированы).